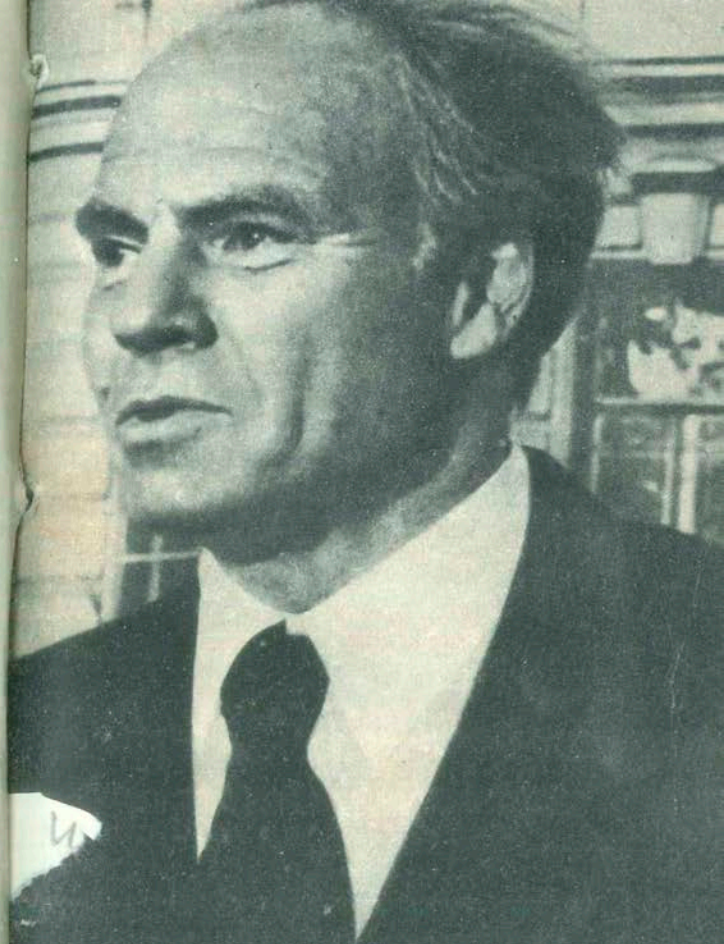
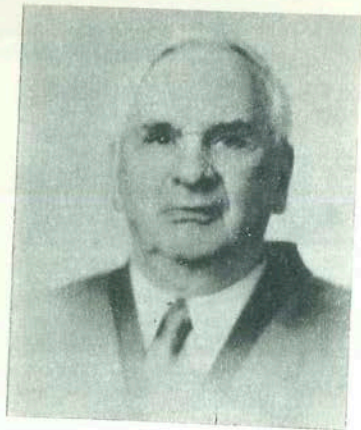




Евг.Габрилович

МОНОЛОГ



Евгений Иосифович Габрилович — старейший советский кинодраматург. Первый фильм по его сценарию — «Последняя ночь» — вышел в 1937 году. С этого времени он — писатель, журналист — навсегда остался верен кино. Не сходят с наших экранов фильмы «Мечта», «Машенька», «Два бойца», «Ленин в Польше», «Коммунист», «Твой современник», «В огне брода нет», «Начало». Все эти картины отмечены особым, неповторимым творческим почерком кинодраматурга, присущий ему лирической интонацией, пристальным вниманием к личным судьбам людей, в характерах и поступках которых раскрывается историческая значимость того, что происходило и происходит в нашей стране.



Евг.Габрилович
МОНОЛОГ

Киносценарий



Габрилович Е. И.

Г12 Монолог. Киносценарий. М., «Искусство»,
1974 г.

112 с. с ил. (Б-ка киноматериалов).

Новый сценарий старейшего советского киноматериала Е. И. Габриловича — произведение многоплановое. Герой его — известный советский ученый — на склоне лет принимает решение, которое поначалу вызывает горячие споры в среде его коллег. Жизнь подтверждает правильность поступка академика Сретенского — человека бескомпромиссного, отстаивающего интересы советской науки. Одновременно автор рассказывает о личной жизни героя, о его семье. Сценарий иллюстрирован кадрами из фильма, поставленного на студии «Ленфильм».

80106-140
Г-103-108-74
025(01)-74

778

© Издательство «Искусство», 1974 г.

Читая эту маленькую книгу, мы входим в жизнь людей, казалось бы, обыкновенных, но на самом деле привлекательных и интересных, как интересен каждый человек, если суметь его понять, разглядеть. Мы входим в квартиру не весьма комфортабельную на вид, но зато обжитую поколениями, истинно ленинградскую квартиру с причудливым расположением комнат, высокими потолками, со множеством закутков, где старые, уже никому не нужные вещи хранят память о чем-то когда-то важном, хранят прикосновение каких-то ушедших людей. Из квартиры мы будем выходить в город — не парадный Ленинград блистательных дворцов и площадей, а повседневный, озабоченно деловитый город с шумными перекрестками и маленькими старыми скверами, тихими набережными, где свет и туман создают иногда волшебную, поэтическую атмосферу... Да что описывать — вы все это прочтете в книжке или увидите на экране, потому что книжка эта — сценарий.

Но не спешите закрывать эту книжку, если вы видели фильм «Монолог». Прочтите ее — и вы узнаете новое о людях, полюбившихся вам в фильме: будто добрый и мудрый человек рассказал вам о ваших знакомых, объяснил что-то очень важное, но не слишком заметное в их судьбах, характерах, поведении. Если же вы не видели фильма, прочтите книгу и тогда пойдете в кино как на свидание с близкими, любимыми вами людьми.

Не каждый сценарий обладает этой чудесной способностью двойного существования — в фильме и сам по себе. Эта двойная жизнь дается лишь очень хорошим сценариям, имеющим и литературные и кинематографические достоинства. Обязательно — и те и другие достоинства, ибо сценарий только кинематографический растворяется и умирает в

фильме, а только литературный не становится ни фильмом, ни книгой. Этот сценарий «Монолог» обрел уже большую, счастливую кинематографическую судьбу — был на фестивалях, не сходит с экранов: о нем велись дискуссии, писались большие статьи. Сейчас этот сценарий начинает вторую жизнь — литературную...

Итак, войдемте в старую ленинградскую квартиру с тусклой медной табличкой на дверях: «Никодим Васильевич Сretenский».

Современное советское киноискусство продолжает настойчивые поиски монументальных эпических форм для выражения узловых социальных проблем, важнейших политических, экономических вопросов. Многосерийная эпопея «Освобождение» посягнула на изображение Великой Отечественной войны в ее глобальном, общечеловеческом значении; кинороманы Сергея Герасимова трактуют новые качества морали, семьи, труда в связи с общегосударственными проблемами сохранения чистоты Байкала, строительства городов в Заполярье; в «Укрощении огня» дана история межпланетного ракетоплавания, сконцентрированная в судьбе одного из крупнейших ученых современности...

Но есть у искусства другие пути — пути пристального наблюдения повседневности, исследования забот и судеб рядовых людей, решения семейных, бытовых конфликтов. И уже не столкновения многотысячных армий, не манящие просторы космодромов, а ссоры супругов, отчужденность отцов и детей, уголки обжитых поколениями квартир возникают на нашем экране.

Значит ли это, что художники разделились на больших и малых, на ведущих и второстепенных, на крупнокалиберных и мелкотемных?

Вопрос этот не праздный и не новый. С большой остротой он возникал и в двадцатых годах, когда рядом с эпосом «Броненосца «Потемкин» и «Конца Санкт-Петербурга» казались неуместными камерные драмы вроде «По закону» Кулешова или «Моего сына» Червякова, в которых действо-

вало три-четыре человека, связанных тесными узами профессии или семьи. Еще горячий дискутировался этот вопрос в середине тридцатых годов, когда нетерпимый, страстный Всеволод Вишневский с высот своих «Оптимистической трагедии» и «Мы из Кронштадта» корил Афиногенова, Райзмана, Ромма за пристрастие к камерным темам, к изображению быта, обычных происшествий и людей.

И как ни страстен, как ни талантлив был Вишневский, он был неправ. Развитие искусства показало, что даже такая величественная тема, как тема Октября, может быть решена на столкновении двух семей, живущих в тихом районе возле Брянского вокзала («Последняя ночь»), что в изображении войны рядом с трагической «Радугой» или полемическим «Фронтом» может существовать лирическая «Машенька». Дело, оказывается, не только в масштабе событий, но и в силе человеческих чувств, в глубине размышлений художника, в смелости и верности типизации. Искусство обязано обращаться и к психологии, к внутреннему миру отдельного человека.

Недаром мне вспомнились «Последняя ночь» и «Машенька». Их автором был Евгений Габрилович, интереснейший и тончайший художник, в те годы молодой новеллист и начинающий кинодраматург, а сейчас — признанный корифей советской кинодраматургии, не теряющий ни экспериментаторского задора, ни свежести чувств, ни постоянства творческих пристрастий.

Евгений Иосифович Габрилович родился в 1899 году и как большинство одаренных людей его поколения не сразу определил свой жизненный путь. Ведь в восемнадцать лет он встретил Великую Октябрьскую революцию, сломившую старое общество, открывшую для всех новые пути.

Среди многих профессий, испробованных Габриловичем, были и интересные: он был студентом юридического факультета Московского университета, был пианистом в театре гениального Мейерхольда, был газетчиком, очеркистом — с этого-то все и началось.

Первые рассказы Габриловича открыли ему доступ в Литературный центр конструктивистов — объединение поэтов и писателей, искавших новые художественные формы для выражения эпохи техники, электричества, свободного труда. Илья Сельвинский и Владимир Луговской, Эдуард Багрицкий и Борис Агапов помогли молодому писателю осознать силу слова, динамику сюжета, глубину человеческих характеров. Новеллы, помещаемые в тоненьких альманахах, даже собственный сборничек «Четыре рассказа» (1931), принесли литературный успех, но не финансовое благополучие. И тогда по причине вполне прозаической Габрилович пришел в кино. Здесь и нашел он свой путь, свою судьбу, себя.

Может быть потому, что кино тогда только что стало звуковым, овладело живым человеческим словом и остро нуждалось в подлинных мастерах этого слова — писателях? Или потому, что первый сценарий Габриловича «Последняя ночь», сделанный по собственной повести «Тихий Бровкин», поставил талантливый художник — режиссер Юлий Райзман? Или потому, что за Райзманом последовали Михаил Ромм, Леонид Луков, Всеволод Пудовкин? А вернее всего потому, что творческие особенности Габриловича, с его любовью к ясной и динамической композиции, к точной, зримой детали, к отточенной, значительной реплике, к самобытному человеческому характеру оказались как раз тем, чего искало кино?

Габрилович быстро стал признанным мастером, опытейшим киносценаристом. Под его легким и взыскательным пером стали фильмами многие литературные произведения: и классические — «Воскресение» Толстого, «Овод» Войнич и современные — «Жатва» Николаевой, «Два капитана» Каверина. Но видное место в развитии советского киноискусства заняли оригинальные (иногда созданные в соавторстве с режиссерами) сценарии: «Машенька», «Мечта», «Человек № 217», «Урок жизни», «Коммунист», «Твой современник», «Ленин в Польше», «В огне брода нет», «Начало» и

«Монолог». В большинстве своем они посвящены современности, раскрытию прекрасных, иногда величественных характеров простых людей, участников гигантских событий революции, социалистического строительства, Великой Отечественной войны, наших дней.

И здесь сказалось удивительное умение Габриловича видеть в простых, скромных, порой скованных, нелепых, чудаковатых людях большую и прекрасную душу, самоотверженность, твердость, нравственную цельность и чистоту. И через эти человеческие качества видеть сущность нашей эпохи, коренные особенности социалистического общества, новой человеческой морали. Ведь именно незапятнанная душевная чистота в основе победы «Машеньки», в основе героической стойкости «Человека № 217» — Тани Крыловой, художницы-самоучки Тани Теткиной, коммуниста Губанова, его сына, крупного инженера, и многих-многих героев Габриловича, вплоть до академика Никодима Сретенского.

Все творчество Габриловича призывает к любовному вниманию к человеку, к уважению его внутреннего мира, к сочувствию его страстям, увлечениям, пристрастиям и даже причудам — словом, к чуткости человеческой.

Об этом — о чуткости — сценарий «Монолог», написанный с пронзительным лиризмом, с автобиографической искренностью, с легкой иронией, которой обычно люди тончайшие, ранимые прикрывают признание в самом важном и сокровенном.

Этот превосходный сценарий поставлен на «Ленфильме» молодым режиссером Ильей Авербахом, автором значительного фильма «Степень риска», человеком серьезным, одаренным, ищущим. Скажем откровенно — не все удалось режиссеру в равной мере, не все содержание сценария исчерпано им сполна, но все же фильм — хорош, он придает замыслу Габриловича отчетливое и впечатляющее звучание.

Герой «Молога» — академик Сретенский. Достигнув высоких званий, всеобщего уважения, широкой известно-

сти, он под влиянием молодого, странноватого, фанатичного микробиолога по прозвищу Самсон бросает налаженную работу и углубляется в решение сложной задачи — фармакологического воздействия на эмоциональную сферу человека. После долгих неудач их работа увенчивается успехом.

Сразу скажу, что в этом — научно-общественном — конфликте фильма авторам удалось немного. Сущность открытия остается не слишком ясной. Сцены в лаборатории — проходные, бледные. Споры на ученом совете занимательны лишь своей эксцентричностью. Сцена победного интервью с иностранцами затянута и трафаретна.

Скажу больше — то, что Сретенский крупный ученый, для содержания фильма не так уж важно. Он мог бы быть художником, капитаном ледокола, летчиком-испытателем, председателем горисполкома. И не обязательно особо выдающимся. Конечно, лучше, интереснее, когда герой значительный человек — его судьба становится более волнующей. Однако и артисту С. Любшину удался лишь внешний рисунок роли Самсона — талантливости, озаренности он не сыграл, да и Михаил Глузский, показывая научные победы и сомнения Сретенского, оказался гораздо слабее, чем в бытовых, семейных эпизодах. Не будем винить в этом талантливого актера, столь много радовавшего зрителей в разнообразнейших ролях и наконец сыгравшего роль не только главную, но и очень сложную, весьма нестандартную. Повторяю, основная задача фильма не в этом. Ведь, несмотря на международный успех открытия белка, регулирующего эмоции человека, сам изобретатель бежит от научных почестей, чтобы оказаться беспомощным перед чувствами самого любимого человека — несчастливой, оскорбленной в своей любви Ниночки. Не в этом ли глубокий смысл повествования Габриловича, режиссуры Авербаха, игры Глузского — в доказательстве, что не чудеса фармакологии, не поразительный белок, а простое сочувственное внимание к человеку есть высшее благо, есть залог счастья и добра?

Да, главное это человеческая чуткость, необходимость умения понять другого человека, помочь ему, поддержать, оценить. Вот именно эти качества особенно интересны и привлекательны в академике Сретенском, именно их с прекрасной скромностью играет Глузский, именно они составляют житейскую драму и моральную победу героя.

Личная жизнь Сретенского, потомственного русского интеллигента, самозабвенно и привычно трудившегося весь свой век, сложилась неудачно. Жена — обычная и, вероятно, недалекая женщина — вскоре покинула его, дочь, столь же недалекая, незадачливая, незначительная, эгоистичная, прибегала к нему лишь за помощью, за опорой, а внучка, воспитанная им, самый любимый, самый близкий и дорогой человек, привыкнув к его самоотверженной скромности и душевной тонкости, тоже пренебрегла его чувствами, поглощенная собственной любовной неудачей.

Так значит — осудим черствых обывательниц, проглядевших прекрасную душу большого человека и заставивших его страдать?

Нет, в том-то и дело, что не поспешим осудить! Ведь нравственное величие Сретенского в том, что он не возвышается над мелкими страстишками обыкновенных людей, а сопереживает им, как содержанию человеческих жизней, сопереживает их судьбам, счастью. Было просто, ясно, правильно и очень легко и скучно рассудить, что талантливый и добрый человек — лучше незадачливых и нечутких, что нужно оберегать ученых от обывательских претензий, что нужно ударить по эгоизму, черствости, по серым людишкам. Нет, не надо ударять, говорит печальный и умный фильм. Люди есть люди. И чем больше душевной открытости, понимания, сердечности встретят они на пути, тем легче им будет жить, тем лучше они станут.

Ясность и доходчивость этой мысли определяются неоднозначностью, многогранностью человеческих образов сценария и превосходной, проникновенной игрой актрис Маргариты Тереховой и Марины Неёловой в фильме.

Терехова нарисовала целую жизнь, целую судьбу, увы, достаточно распространенную. Она сыграла и девичью беспечность, ленивую мечтательность, такой милый, естественный, кокетливый эгоизм, а потом — растерянность, слепую и жалкую уверенность, что все идет хорошо, а потом — особенно в отношениях с дочерью — обиду и горькое сознание заслуженности этой обиды, и, наконец, озлобленную мелочность, обывательское самолюбие. Актриса нашла не только верные, точные интонации, она нашла пластику психологических состояний своей героини: рисунок ее жестов, привычных и милых гримас, и даже манеры носить платья, становящейся все более беспокойной, показной, привлекающей внимание.

Неёлова делает Нину умнее и сильнее своей матери. Она не прощает ей ни легкомыслия, ни измен. Она видит всю неправоту матери перед дедом, но не видит своей собственной неправоты. И только потрясение от крушения воздушного замка первой любви, опошленной и отвергнутой, возмывает ее до понимания нравственной силы деда.

Хороши и эпизодические персонажи: ворчливая, тщетно мечтающая изменить свою судьбу домработница Эльза Ивановна (Е. Ханаева), очень сановный и важный, но гибкий и дальновидный Куратор — академик Головин (Л. Галлис).

Еще многое радует в тщательно сделанном фильме. Очень интересна музыка О. Каравайчука. Весь фильм пронизывает одна несложная мелодия, но ее разработка разнообразна и оригинальна: чисто, печально звучит рояль, то вдруг труба, валторна, человеческий голос фальцетом. То вдруг раздаётся странное бречание, словно рояль дергают за струны, — и это отлично передает беспокойство, растерянность, раздраженность героев. А потом вновь мелодия звучит чисто, с такой тревогой, надеждой, мольбой, словно требует понять, оценить душевную чистоту героя.

Оператор Д. Месхиев много внимания уделил цветовому решению интерьеров и пейзажей. Изобразительная трактовка фильма спокойна, сдержанна, свидетельствует о вызы-

скательном вкусе. Меня раздражали только экзерсисы с оловянными солдатиками. То резко, то расплывчато, то цветасто, то акварельно... Да и вообще это странное «хобби» придумано плохо. Оно для другого характера — для чудака, уходящего от жизни, а не для человека, так возвышенно любящего людей.

Любовь к людям, внимание к ним, внимание к самым, казалось бы, ординарным и незначительным житейским проблемам — бесценное качество сценария Е. Габриловича хорошо понято и, в общем, удачно осуществлено режиссером. Порой в решении сложных психологических сцен И. Авербах еще не самостоятелен. В сцене встречи старого академика с нестареющей любовью своей юности слишком чувствуется «Земляничная поляна» И. Бергмана, в мальчиках-трубачах — персонажи Феллини. Изыски — солдатики, видения, ретроспекции — удались Авербаху хуже реалистических сцен. И это хорошо. Красивые штучки забудутся, человеческие характеры запомнятся.

Хочется вновь вернуться к артисту Глузскому. К его встревоженным, вопрошающим глазам, к его застенчивой улыбке, смущенным и вместе с тем таким твердым, убежденным интонациям. Создан образ большого гуманного человека. В этом смысл и победа фильма. Камерная психологическая драма оказалась глубокой, поучительной и современной.

Создание «Монолога» — новая вершина в творчестве замечательного советского киносценариста Е. И. Габриловича, большой и радостный успех накануне семидесятилетнего юбилея! Но ни тени успокоенности, ни намёка на усталость. Габрилович в поисках, в работе, в пути. Появляются его очерки и рецензии, его сценарии и пьесы, его воспоминания о прошлом и его планы на будущее. Счастливая пора. Подобно своему герою, писатель отважился на попытку регулирования человеческих чувств, на поиски рецепта человечности. Хорошо понял, что рецепт этот выписывается на языке правдивого и искреннего искусства.

Р. Юренев

Пожилой человек — профессор Никодим Васильевич Сретенский — шел не спеша по одной из линий Васильевского острова, постукивая тростью о тротуар. Была весна, но еще совсем ранняя, совсем молодая, и профессор был одет в пальто, на голове его была солидная фетровая шляпа.

Он открыл калитку одного из старинных домиков, вошел в палисадник, вззошел на старое, слабое крыльцо, нажал кнопку звонка. Дверь открыла худая пожилая женщина — Эльза Ивановна, домработница Никодима Васильевича. Она приняла его пальто, трость и шляпу.

— Обед готов? — спросил Никодим.

— Все готово, профессор, — чинно ответила Эльза Ивановна.

Он прошел в большую комнату, где уже был накрыт обеденный стол, снял пиджак, подошел к древнему рукомынику и стал тщательно мыть руки и — палец за пальцем — вытирать их. И между ним и Эльзой Ивановной шел такой разговор:

— Ну-с, как почивали сегодня, Эльза Ивановна? Лицо ваше выражает тревогу.

— В понедельник ухожу от вас, Никодим Васильевич.

— Куда, осмелюсь спросить?

— На курсы вагоновожатых.

— Вы их не одолеете, любезная Эльза Ивановна.

— Прошу не беспокоиться обо мне! — сказала, вспыхнув, Эльза Ивановна. — Не помирать же мне в прислугах!

— Я вижу, вы просто скверно спали, почтенная Эльза Ивановна. — Что так? Опять боль в колене?

— Да, боль в колене! — в гневе заметила Эльза Ивановна.

— Я много думал о ваших страданиях, добрейшая Эльза Ивановна, — сказал Никодим, накидывая пиджак и направляясь к столу. — Я много и напряженно думал. И знаете, к чему я пришел?

— К чему?

— К мысли, что вас можно поздравить. Видите ли, каждому человеку дано под старость примерно пять порций хвороб. И надо просто-напросто ликовать, когда в зачет принимается боль в колене.

— Но вы-то ничем не больны?!

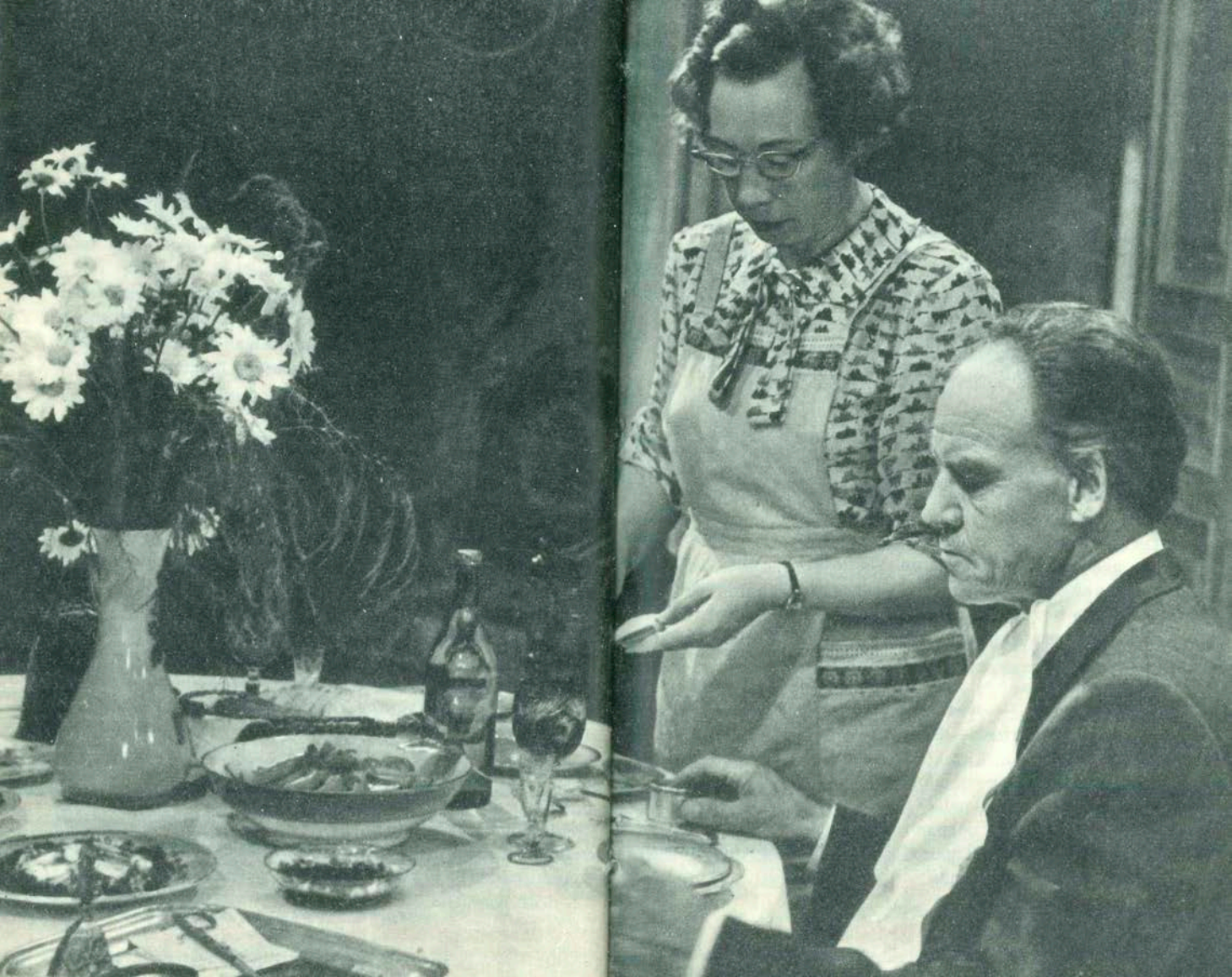
— А вот это самое страшное, Эльза Ивановна! Мне все еще предстоит. Прошу, принесите борщ.

Эльза Ивановна вышла, Никодим начал перебирать дневную корреспонденцию, лежавшую рядом с его прибором. Раскрыл крохотный ящичек. Там лежали маленькие деревянные солдатики. Профессор вынул из кармана увеличительное стекло и стал разглядывать их, сладко мурлыча. Вошла Эльза Ивановна с супницей и налила в тарелку профессора борщ.

— Кто это вам прислал? — спросила она.

— Один польский коллега, — сказал Никодим, с аппетитом кушая борщ. — Перворазрядный химик, но ни бельмеса не смыслит в солдатиках... Я химик, может быть, и похуже, но в солдатиках знаю толк. Солдатики — моя страсть.

Эльза Ивановна безнадежно махнула рукой.



— Человек в жизни должен чем-нибудь увлекаться, — сказал профессор, — или он редька, а не человек. Страсть движет миром, милая Эльза Ивановна. Она низвергает царства, она заставляет мужчину раздирать на себе одежды, чтобы прильнуть к женщине, прекрасной в своей наготе.

— Тьфу, гадость! — сказала Эльза Ивановна и пошла за вторым блюдом на кухню.

Раздался звонок, Никодим пошел отворять. Вошла совсем юная девушка, неся баулы и свертки. Никодим опешил.

— Прошу извинить, — сказал он. — Вы, простите, к кому?

— К тебе! — откликнулась девушка и весело улыбнулась, глядя на его растерянное лицо. — Я твоя дочь. Меня зовут Тася. Мама сказала, чтобы ты подготовил меня в университет. Мама сказала, что ты по-прежнему не женат. Это правда?

На следующее утро Никодим проснулся у себя в кабинете от странных глухих звуков, доносившихся откуда-то с потолка.

Он накинул халат и взбежал по лестнице. Тут, в мезонине, были две теперь давно нежилые комнаты. В одной из них, заваленной старой мебелью, корзинками, дряхлыми чемоданами, была его дочь, столь внезапно возникшая вчера из весенней мглы. Одним пальцем она наигрывала на фисгармонии.

— Доброе утро.

— Ой, папка! — сказала она, обняла и крепко-крепко прижала к себе отца. — Значит, вот ты какой. Ой, хорошо иметь папку!

Он растроганно ее поцеловал.

— Значит, ты тут живешь? Всю жизнь? В этом домике?

— Да. Я жил здесь сперва гимназистом, затем студентом, потом доцентом, затем профессором. Сперва с родителями, а когда их не стало — один.

— И много тут комнат?



— Много. Я занимаю только нижние две. В них тоже все не очень устроено. Однако это гнездо, согретое тем, что человек в нем ест, спит, вздыхает, стремится понять суть явлений и даже порой ухватывает эту суть.

— Как ты смешно говоришь!.. Нет, это совсем неплохая комната, — заключила Тася, оглядываясь вокруг. — Если ее помыть, поскоблить и выкинуть весь этот хлам.

— Это не хлам, — возразил отец. — Это вещи моих родителей. Мое детство.

Она быстро перебирала что-то, сваленное в углу.

— Послушай, а это что такое?

— Это? Гм-м... По-моему, штора.

— Сказочный материал! — сказала она просияв. — Можно, я из него чего-нибудь сделаю? Да еще отошлю одну штору маме?

— Можно, — согласился отец. — А как у нее с мужем?

— У кого?

— У мамы твоей.

— Нормально,— ответила Тася, накинув на плечи штору и оглядывая себя в стекло окна.— Правда, она слишком ему угрождает. А это никогда не кончается хорошо. Это даже мне известно...

— Ишь, какая премудрая!

— Просто я знаю жизнь,— ответила дочь.

— Поздравляю тебя. Немногие могут этим похвастаться! Тася взглянула на отца.

— А я думала, ты другой,— сказала она.— Даже боялась тебя.

— А теперь?

— Чего же такого бояться!

— Пойдем погуляем,— сказал отец.— Я покажу тебе Ленинград.



Они шли по набережной Мойки. Был светлый, сверкающий день.

— Если я что-нибудь знаю, так этот город,— говорил Никодим.— Я исходил его еще гимназистом. Прошло всего три года после войны, но, взгляни, как он вновь прекрасен! И знаешь, каким я его больше всего люблю? Под мелким мелким дождем, когда...

— Брр! — содрогнулась дочь.

— ...когда,— продолжал отец,— промозгло и сыро и во дворах волшебным пахнет дровами, и полощутся баржи и тоже пахнут дровами, и зонтики в брызгах, и шляпы в брызгах, и с Адмиралтейства стекают ручьи... Вот это, душа моя, я люблю. Сырость, плеск, водосточные трубы, калоши и поднятые воротники.

— Кошмар! — откликнулась дочь.

— И, вообрази, я когда-то сумел внушить эту привязанность твоей маме. К водосточным трубам и поднятым воротникам.

Тася и Сретенский на речном трамвае.

— Скажи, а как вы познакомились с мамой?

— За двенадцать лет до войны. Я был уже ученым, а она обыкновенной студенткой. Я был чертовски сметлив, а она — обыкновенно. Я читал книги с восторгом или презрением, а она обыкновенно. И только единственное, в чем у нее было преимущество перед мной, это то, что я ее обожал. А она меня нет. Однако, заметь, преимущество это весьма значительное.

— А как вы с ней разошлись?

— Представь себе, без затей. Через год после загла появилась ты. А еще через год — твоя мама уехала вместе с тобой к своей маме. И уже не приезжала сюда и не привозила тебя.

— Ненормальные вы оба: ты и мама. Жили бы вместе, и я бы с вами. Сошлись, разошлись. Зачем? Она тебе писала?



— Всего один раз. Написала, что встретила человека и полюбила его и видит в нем спутника жизни по гроб. И просит забыть о ней и прислать развод. Прости и забудь!

— И ты прости?

— Простил. Прощать — это я могу...

Сретенский и Тася идут вдоль решетки, за которой ребята играют в футбол. Останавливаются, смотрят на играющих ребят.

Они стояли неподалеку от большого старого здания с колоннами. Никодим сказал:

— Здесь помещалась моя гимназия...

— А! — откликнулась дочь. Она сосала эскимо и делала это экономно и сосредоточенно.

— Здесь в этом садике заливали каток, — продолжал он. — Нет, здесь; левей... Нет, еще левей... Возле этого дуба. Господи, сколько радостей и волнений связано с этим катком!

— А! — безразлично откликнулась дочь.

...Стоял, ссутулившись, дуб, на нем — далеко в высоте — шумела листва, а под ним, там, где когда-то лежал каток, теперь возле вытоптанной прохожими площадки рядами выстроились гаражики из железа и кто-то возился возле «эмки».

И вдруг, словно подчиняясь неукротимой силе воспоминаний, стерлись гаражики, растворилась «эмка», заблестел лед. И закружились по льду невнятные, стертые снеговые вихри. Зазвенел вальс. Мелькнуло бегущее очертание девочки в вязаной шапочке, в шубке и на коньках. Снова мелькнуло. И снова мелькнуло. Но все, как туман, быстролетность, расплывчатый миг...

— Да, прошла жизнь! — сказал Никодим.

— А? — откликнулась дочь.

Она потормошила отца за рукав.



— Что с тобой? — спросила она. — О чем ты все время задумываешься?

Он встрепенулся.

Опять было лето и шумел листвою дуб.

— Нельзя так задумываться! — сказала ласково Тася и пальчиками разгладила его лоб. — От этого бывают морщинки!

— ...Еще будучи на студенческой скамье, наш дорогой юбиляр заинтересовался биохимией мозга... Еще будучи аспирантом, он увлекся идеей биохимического подхода к исследованию нервной системы... Еще будучи...

Немолодой человек читал эту речь в зале научно-исследовательского института. Шло юбилейное торжество дирек-



тора института Никодима Васильевича Сретенского, знаменитого биохимика. Над сценой висел транспарант с лавровым венком: «Профессору Сретенскому — пятьдесят лет».

Под плакатом за длинным столом возвышался президиум. И в президиуме — юбиляр.

А в зрительном зале сидела Тася, мило причесанная, хорошенькая, очень юная, гладкая. Юбилейное торжество имело место примерно через неделю после того, как она прибыла в Ленинград для сдачи университетских экзаменов.

— ...Но страна в те годы нуждалась в другом, — продолжал оратор. — И по первому зову гражданин молодой Советской республики Сретенский оставил тишину лаборатории...

В зале было много народа. Люди слушали. Но кое-кто, как всегда, позевывал.

Тася слушает, потом выходит на балкон. На балконе стоит молодой человек, один из юных сотрудников института, с вихрами, в ковбойке. Это Самсон.

— А знаете, девушка, — сказал вихрастый в ковбойке. — Я вас тут никогда не видел. Вы из нашего института?

— Не из вашего, — откликнулась сухо Тася.

О р а т о р. ...Он ушел с головой в новую отрасль биохимии — прикладную. Эту отрасль он поистине создал. Именно так начинался наш институт.

А диалог Таси с Самсоном продолжался:

С а м с о н. Вас как зовут?

Т а с я. А вам-то что?.. Лора...

Аплодисменты заглушают их разговор, оратор завершил речь и сошел с трибуны. Аплодисменты усиливаются, к трибуне идет Никодим Васильевич.

Сильнейший шум и движение, но Тася и ее сосед не замечают ничего: они увлечены разговором.

С а м с о н. Вы сами-то ленинградка?

Т а с я. А вам зачем?.. Нет.

С а м с о н. Из Москвы?

Т а с я (смотрит в зеркальце портативной пудреницы).

Нет.



С а м с о н. Из Одессы?

Тася отрицательно качает головой.

С а м с о н. С острова Врангеля? (Оба так и покатываются от сдвинутого смеха.) Лорочка, есть идея! Махнем хотя бы в буфет...

Н и к о д и м В а с и л ь е в и ч (с кафедры). Спасибо всем, дорогие друзья, кто пришел сегодня на наш скромный праздник. Я говорю «наш», потому что круглые цифры моего возраста, по счастью, так легко делятся пополам, и вторая половина — двадцать пять лет — прошла, я бы сказал, пробежала, на ваших глазах, в наших общих с вами усилиях, удачах и неудачах...Здесь, до меня, все были единодушны в том, что я посвятил жизнь науке. Это правильно! Но правильно ли я поступил, посвятив жизнь науке? Вот в чем вопрос, особенно важный для юбилея. Мы с вами твердо

знаем, и это единственное мы знаем наверняка, что ученый, как и художник, должен быть несколько тронутым, что ли. Он, как и художник, должен рвать логику, раздирать ее, следуя простой истине, что дважды два равно четырем только для школяров. Так вот, я не решился на это. Или не сумел. Я был недостаточно полоумным, чтобы воистину стать человеком науки. В науке существуют те, кто прошибает стены, и те, кто потом сто лет подчищает осколки. Так я из этих, из подчищал... И, следовательно, могу ли я называться ученым, дорогие друзья, почтившие наш юбилей, невзирая на дождь?..

Донесся звук открываемого дверного замка и в темную прихожую своего домика на Васильевском быстро вошел после юбилейного заседания знакомый нам знаменитый профессор Никодим Васильевич. Зажег свет. Вбежал в столовую. Там, на стуле, дремала возле празднично накрытого на троих стола домработница Эльза Ивановна.

— Эльза Ивановна! — закричал Никодим. — Тася не возвращалась?

— А-а... Какая Тася? — забормотала спросонок Эльза Ивановна. — Господи, я, кажется, придремнула. Ждала, ждала, прилегла на минутку...

— Я вас спрашиваю, где Тася?!

— Позвольте, разве она не с вами? — спросила Эльза Ивановна зевая.

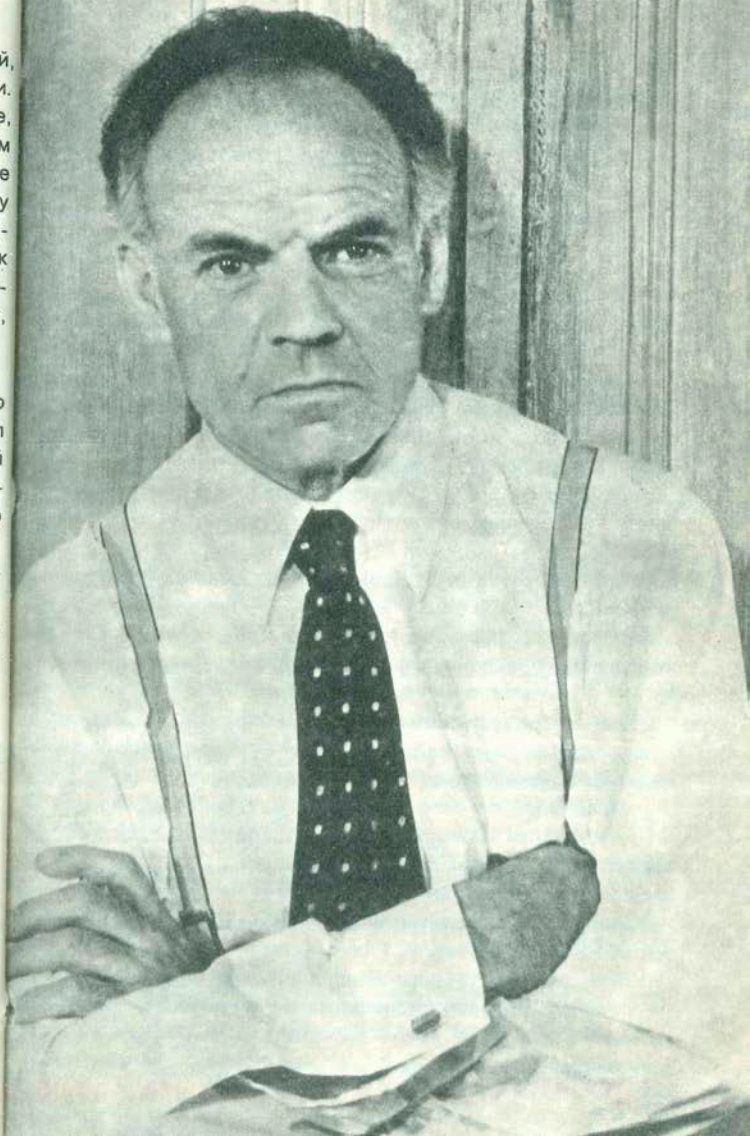
— Я искал ее целый час по всему институту. Ее нигде нет.

— Придет, ничего с ней не случится, — сказала Эльза Ивановна, еще раз зевнув. — Нашелся какой-нибудь кавалер.

— Какой кавалер?! — завопил Никодим Васильевич. — Послушайте, я волнуюсь, я не знаю, где моя дочь, а вы молотите ахинею!

Эльза Ивановна стала выходить из своего дремотного равновесия.

— Ах, вот как! — проговорила она. — Спасибо! Я вас жду,



хотя мой рабочий день кончился в семь часов. Три часа я готовила для вас праздничный ужин...

— Какой кавалер?! — закричал вновь Никодим.

— Как вы со мной разговариваете! — вспылила Эльза Ивановна. — Я немедленно уйду!

— Какой еще, к дьяволу, кавалер?! —

Эльза Ивановна накинула плащ и вышла, яростно стукнув дверью. Профессор остался один. Он нервно зашагал по комнате, все время останавливаясь и прислушиваясь. Кто-то зашумело на улице, Никодим рванулся к крыльцу, распахнул дверь. Но это была не Тася: мимо с посвистом промчался подросток. Профессор ударил себя кулаком по затылку, воротился в комнату и опять зашагал. И вдруг снова застыл: два голоса у калитки. Кто-то стоял там, донесся легкий и быстрый смех. Никодим Васильевич распахнул окно и радостно крикнул: «Тася!» Нет, это была не Тася, а другая девушка, судя по мелькнувшему платью, но толще и тяжелей.

— А, чтоб вы пропали! — крикнул профессор по адресу этих двоих и захлопнул окно с такой силой, что вздрогнул дом.

Охватив голову руками, он уселся за праздничный стол. Послышался звук открываемого замка. Профессор поднял глаза. Впорхнула Тася.

— Наконец-то! — воскликнул он. — Я тут с ума схожу!

— А чего? — в недоумении спросила семнадцатилетняя Тася, снимая платье и накидывая халатик. Она так и светилась силой и радостью жизни.

— Как чего? Куда ты исчезла? Первый час ночи! Где ты была?

Она подошла к столу и наколола на вилку сардину.

— Ой, вкусно!.. Угомонись. Чего ты кричишь? Я просто гуляла.

— С кем ты гуляла?

— С одним мировым гражданином, — сказала она смеясь. — Он из твоего института. Такой лохматый. Его звать Самсон, — добавила она улыбаясь. — Слушай, а ведь тебя не любят.

— Кто?

— В твоём институте. Говорят, что ты сухарь.

— Таисия! — строго сказал он. И совсем другим тоном: — Доченька! Родная моя! Я понимаю, что то, что я говорю, нетактично, может быть, грубо... Но пойми, ты уже взрослая девушка, ты должна быть осмотрительной. Ну как бы тебе это объяснить... Видишь ли, взрослая девушка должна быть...

— Милый мой, — откликнулась дочь. Теперь она ела телятину. — Я все знаю про взрослую девушку. И вообще знаю все. И ты не тревожься. Я не с придурью и не промахнусь...

Будь спокоен... Ну, ладно, мир... Дай-ка я тебя поздравлю и поцелую...

Был превосходный день ранней осени. Никодим стоял на набережной университета и глядел на Неву.

На Неве, как всегда, бродили буксирные пароходики, тянувшие баржи, и все тут было давно известно, но если взглянуть попристальней и поближе на эти палубы, рубки, иллюминаторы, на пароходных людей и предметы (как это делает сейчас кинокамера, стремительно приближаясь к ним), то можно увидеть много невиданного. И если вот так же пристально, без поспешности глядеть на мороженщицу и на ребят, обступивших ее, то и в платье ее, в косынке, в жестах, да и в ребятах, в их лицах, носках, штанишках можно тоже увидеть такое, что обычно проскальзывает поверх глаз.

В общем, камера, следуя взору задумавшегося профессора, как бы в деталях исследует и пароходики, и мороженщицу, и ребят, подобно тому, как камера искусствоведческих фильмов подробно, в деталях всматривается в произведения живописи, изыскивая внезапное и невиданное в примелькавшемся и обычном.

— Папочка! — прозвучал за спиной Никодима звонкий голосок Таси. Она выскочила из подъезда университета и стремглав весело бежала к нему.

— Ну что? — в мучительном беспокойстве спросил Никодим, оторвавшись от дум. — Ну как? Говори же! Что спрашивали? Выдержала?

— Провалилась! — сказала она, хохоча и обнимая его. — Вдребезги! Подчистую!

Он ошеломленно и в ужасе глядел на нее...

Обычная толпа около готового к отправлению поезда. Возле ступенек одного из вагонов стояли Никодим и Тася.

— Ну вот и все! — сказала Тася. — Пап, ну что ты такой унылый? Ну срезалась, ну приеду на следующий год. Пап?

— Да, конечно, конечно, — торопливо проговорил он. — Но, знаешь, я так привык к тебе! Дома теперь будет пусто, безлюдно...

— И я привыкла к тебе, — сказала она. — Ну, ничего, ну погорюем и успокоимся... Слушай-ка, подожди минуточку. Я сейчас. Хорошо? Только никуда не уходи. Ладно? — Быстро добавила она, глядя куда-то поверх его головы. Там, за вокзальной колонной, стоял тот самый лохматый Самсон с юбилея.

Никодим остался один. Он не глядел в ту сторону, куда побежала дочь: это было бы по меньшей мере не этично. Он стоял у вагона, мимо него взбиралась по ступенькам обычная посадочная волна: молодые и старые, веселые и озабоченные. Пробило два звонка. Поспешно подошла Тася.

— Ну, время прощаться! — сказала она.

Они обнялись.

— Единственная моя! — забормотал он. — Дорогая моя! Я так привязался к тебе, так полюбил... Помни, что если я тебе когда-нибудь в жизни понадобится...

— И я тебя тоже очень люблю, — сказала она и легко вспрыгнула на площадку. Поезд тронулся. Он шел за ваго-

ном. Она смеялась, махала ему рукой. А может, и не ему, а кому-то там, за колонной.

Поезд ушел, экран стал совершенно пустым, одноцветным, и на пустом экране обозначились вдруг солдатики. Игрушечные фигурки — оловянные, и из дерева, и из слоновой кости, и из жести. Много разных фигурок всех времен и мундиров.

Солдатики, стоящие на часах, сидящие у костра, идущие в бой, лежащие в лазарете.

Солдатики, шагающие в парадном строю, проделывающие ружейные артикулы, стреляющие из пушек.

Опять идущие в бой, опять сидящие у костра.

Опять лежащие на лазаретных носилках.

Звучала простенькая мелодия. На одной флейте.

И вслед за этим — снова безлюдный экран. Всего лишь экран да флейта...

Экран — это время. Прошло несколько лет.

И снова, как каждый день, открыл калитку своего домика несколько постаревший Никодим и взошел на обшмыганное крыльцо. И опять, как тогда, немного увядшая Эльза Ивановна принесла ему суп. И опять, как в те годы, прозвучал такой разговор:

— Как почивалось сегодня, тишайшая Эльза Ивановна? — спросил Никодим, вскрывая небольшой ящичек, где в вате лежал солдатик. На сей раз это был рослый шотландец.

— В понедельник ухажу.

— Куда, осмелюсь спросить? — Профессор рассматривал шотландца.

— Продавцом в продовольственный магазин.

Никодим вздохнул и сказал:

— Вам нельзя в продавцы, драгоценная Эльза Ивановна. Вы не раз извещали меня, что у вас нездоровы колени.



А продавцу надо стоять на ногах весь день. Вы оскандалитесь, драгоценная...

— Не беспокойтесь! — гневно заметила Эльза Ивановна. — Не помирать же мне в прислугах! Я хочу жить!

— Превосходно, милая Эльза Ивановна. Но что значит — жить? Один писатель сказал, что...

— Не морочьте меня писателями! — прервала Эльза Ивановна. — И ешьте быстрее и с хлебом! Я спешу, через полчаса меня ждет директор...

И Никодим с покорной поспешностью повиновался.

Стол был убран. Теперь Никодим был один в квартире. Мурлыча, он сидел на диване и разглядывал своего шотландца. Прозвучал звонок. Он, мурлыча, пошел отворять.

В дверях стояла Тася с крохотным ребенком на руках. Но теперь ей было уже около двадцати четырех.

— Папа!

— Боже мой, Тася! Боже мой! — проговорил, обомлев, Никодим.

Она положила спавшую дочь на кушетку и, рыдая, припала к нему.

— Папочка, папочка, здравствуй!.. До чего же ты постарел! — говорила она сквозь слезы. — До чего же ты постарел!

— Как ты здесь? Почему? — бормотал он. — Да садись же, садись!

Они сели за стол. И тут же отец вскочил.

— Сейчас я притащу тебе пообедать.

— Не нужно. Мне ничего не нужно. Я обедала в поезде. Мне нужно только Ниночку накормить, искупать... — Она вытерла слезы платочком, потрогала угол скатерти, и глаза ее на миг стали точными, как всегда, когда она думала или говорила о практических вещах и явлениях. — У тебя новая скатерть? — спросила она.

— Возможно.

— Новая! — подтвердила дочь. — И очень недурная. И тарелки другие... Ну вот. Теперь слушай меня внимательно. Я бросила мужа.

— Но что такое случилось? — пробормотал Никодим. — За все эти годы ты мне писала не более двух раз, однако успела оповестить, что все у вас прекрасно.

— Я его разлюбила.

— Так! — произнес, подумав, отец. — И что же теперь?

— Полюбила другого, — сказала дочь. — И выхожу замуж. Он инженер из Орла.

Они помолчали.

— Послушай, — сказал профессор. — А тебе не приходится на ум, что тот, первый, все же отец твоего ребенка? Конечно, это в общем неплохо, что снова пришла любовь, но ты лишаешь дочку отца.

— Так что же ты мне посоветуешь? — насмешливо возразила дочь.

— Я понимаю, — заметил отец, — что то, что я тебе посоветую, — банальщина, штамп и шаблон, но, по-моему, нужно очень и очень обдумать развод, не поддаваясь мгновению. Понимаешь, в жизни случаются обстоятельства, когда...

— Обстоятельства?! — закричала дочь. — Да разве ты что-нибудь понимаешь в любви? Мне мама все о тебе рассказала.

Наступило молчание.

— Миллиарды раз говорил себе, дураку, — произнес Никодим, — что советовать — это самое никудышное дело.

И вдруг дочь снова бросилась к нему и прижалась в слезах.

— Папочка, золотой мой, да ты не волнуйся. Все будет нормально. Он добрый, хороший. Неплохо устроен, скоро будет начальником цеха. Все будет чудесно. И не говори никогда мне свои пожилые слова.

— Тут ты права, — сказал Никодим, обнимая дочь. — Слова, как и мы, стареют и умирают.

— Ну вот! — сказала она и вытерла слезы. — Теперь послушай меня. Я хочу, чтобы Ниночка побыла у тебя.

— У меня?!

— Ненадолго. Ну, пока все наладится. Она почти взрослая, тебе с ней будет легко.

— Позволь, позволь, — опешив, заметил отец. — Но ведь и я работаю. Кто будет с ней?

— Ну Эльза Ивановна. Или найди няню.

— Это не так-то просто.

— Ну, папочка, ну, миленький мой... Ну все же люди находят. Похлопочи, поспрошай. Стань же, наконец, ты практичным человеком... Ну вот, все устроено и чудесно. Сейчас я вас с ней познакомлю.

Она взяла дочку на руки, нежно и тихо поцеловала ее. Нина открыла глазенки.

— Нинок, это твой дедушка, — сказала Тася. — Твой самый родненький. Твой добрый дедушка. Ты у него поживешь немного. Хорошо? Ну дай ему рученьку.

Нина вдруг сморщилась, всхлипнула и закричала навзрыд.

— Боже мой, она плачет! — в смятении пробормотал дед.

— Перестань витать в облаках! — откликнулась дочь. — Все дети плачут!

Дед и пятилетняя Ниночка-внучка сидели на ковре и строили домик из кубиков. И пока они строили этот дом, пока кубики пошатывались и падали и приходилось вновь складывать их, между дедом и внучкой шел разговор. Занятно, что дед все время говорил с ней с какой-то шутливой серьезностью. Не то он подтрунивал над собой, не то над внучкой, не то над сутью того, о чем говорил.

Внучка Нина спросила:

— Дед, а ты любишь кубики?

— Очень.

— А почему?

— Гм-м... — сказал дед. — Как тебе объяснить? Понима-

ешь ли, они сама логика, стройность, прямолинейность. В них нет кривизны, уклончивости, невыясненности. Ни высот, ни впадин. Они...

— И все ты глупости говоришь! — сказала внучка.

Они продолжали складывать кубики.

— Дед, а ты старый?

— Очень. Так стар, что каждую ночь боюсь помереть.

— А что это — помереть?

— Помереть? — переспросил дед. — Видишь ли, моя дорогая, человечество все еще ищет ответ на этот вопрос. Одни утверждают, что смерти нет и ее не надо бояться. Другие — что смерть есть, но ее не надо бояться. Я не знаю, кто прав, но боюсь.

— И все ты глупости говоришь!

Молчание. Кубики.

— Дед, ты глупый?

— Не убежден. Видишь ли, как раз сейчас, когда мы с тобой тут играем, меня выбирают в академики.

— А это что? — спросила внучка.

— Академик? Ну, это потрясающе умный человек... Так вот. Существуют люди, которые полагают, что я гожусь в академики. И это хорошие люди. И существуют люди, которые полагают, что я не гожусь в академики. И это нехорошие люди. Что же касается лично меня, то я...

— Ну как ты делаешь крышу! — воскликнула внучка. — Да разве такие крыши бывают?

— Не кричи! — возразил дед. — Дай поправки, и я переделаю...

Он помолчал.

— Когда-то вообще в домах не было крыш, одни стены. Потом человек выдумал крышу. Потом — дверь, это было великолепное изобретение. Потом научился закрывать дверь на ключ — это было уже одно из величайших открытий. Но на первых порах он часто терял ключ и тогда вылезал в окно.

— Зачем?

— Как зачем? Подышать воздухом, восхититься луной.

— Деда, а дед!

— Что?

— Ты все знаешь?

— Все.

Прозвучал телефонный звонок, дед быстро подошел, снял трубку.

— Да, да... Слышу... Ну, спасибо, спасибо.

Он положил трубку и сел на ковер.

— Поздравь меня! — сказал он. — Я академик. Избран. Только не знаю, каким большинством.

— И ничегошеньки ты не знаешь! — откликнулась внучка.

...Все замелькало и стерлось, экран опять стал безлюдным и одноцветным.

И опять обозначились солдатики: шагающие в парадном строю, скачущие на конях, стреляющие из пушек, лежащие на носилках. Звучала все та же мелодия, но на этот раз кроме флейты были кларнет, гобой и валторна.

Потом все стерлось. И снова — только экран.

Прошло время. На этот раз — много времени.

Весьма постаревший Никодим в праздничной белой сорочке, галстук-бабочке и жилетке стоял у входных дверей своей квартиры и с недоумением вглядывался в посетителя. Посетитель сразу же показался чем-то памятным нам, правда, весьма отдаленно.

— Имею честь говорить с академиком Сретенским? — спросил он.

— Да, имеете эту честь, — подтвердил Никодим. — Только я крайне занят.

— Есть дело, не терпящее отлагательства, — сказал посетитель. — Позвольте отрекомендоваться: Константин Николаевич Котиков, кандидат наук кафедры биохимии.

— Весьма польщен, — сказал академик. — Однако я

действительно крайне занят, коллега. День рождения внуки.

— Поздравляю. Но у меня дело чрезвычайной важности. Я прошу пять минут, — настойчиво и, может быть, даже дерзко повторил Самсон.

Никодим удивленно взглянул на него. Взглянули и мы попристальней. Теперь Самсон показался нам уже чем-то ближе знакомым.

— Всего пять минут, — холодно и грубовато повторил он.

— Прошу, — пригласил Никодим. — Пять минут... и простите меня за жилетку!

Они прошли через столовую, где внучка Нина, которой сегодня стукнуло круглых пятнадцать лет, прелестная, белая, юная, накрывала на стол.

— Ну, дедушка! Ну, дедуля! — сказала она в досаде. — Ну что ты наделал? Ну как же ты разложил ножи!.. И принеси заливное.



— Погоди с заливным, — возразил академик. — Перерыв в пять минут. Сообщение баснословной важности — он шутя кивнул на Самсона, приглашая его пройти в кабинет.

В кабинете Никодим закурил. Самсон сел в кресло. Лицо его сохраняло строгое и чрезвычайно серьезное выражение.

— Итак? — спросил Никодим.

— Итак, — сердито сказал Самсон. — Три года назад, листая один старинный журнальчик, я наткнулся на вашу статью, которую вы написали, едва выйдя из университета.

— О! — откликнулся Никодим. — Я могу укорять себя в чем угодно, но только не в лени, когда дело касалось статей. Я написал их до черта!

— Но это удивительнейшая статья, — продолжал Самсон. — В ней излагался принцип синтеза нового белка. Это была абсолютно безумная идея по тем временам. Вы получали белок из клеток головного мозга...

— Далее?

— Вы могли бы стать новым Эйнштейном, если бы не отказались от этой затеи, чтобы потом всю жизнь заниматься бог знает чем...

Распахнулась дверь, показалась Нина.

— Дед! Ты идешь?

— Я сейчас, сейчас...

Она испарилась.

— Я, кажется, кое-что вспоминаю, — сказал Никодим. — Мне было тогда двадцать четыре года, и я действительно долго носился с этой идеей.

— Так вот! — торжественно приподнявшись, сказал Самсон. — Вы были тогда на пороге величайшего открытия.

— Я?

Опять распахнулась дверь.

— Ну, дедушка же! Все уже в сборе. Мы садимся за стол, — закричала Нина.



— Послушайте, оставьте нас в покое, — возмутился Самсон.

— Не мешай! — сказал дед. — Конечно, я бы очень хотел стать Эйнштейном, — шутиливо сказал он Самсону, когда внучка исчезла, — но имейте в виду, нынче на эту тему книг больше, чем на этих полках, а лекарства, регулирующие деятельность мозга, поступили в розничную продажу.

— Дайте бумагу, — потребовал Самсон. — Он наклонился над чистым листом, мы близко увидели его и окончательно убедились, что это тот самый Самсон, который некогда, юношей, присутствовал на юбилее Никодима Васильевича и увлек его дочь с торжества.

В соседней комнате между тем пир шел горой. За столом веселились подростки — одноклассники Нины: девочки в

выходных платьях и мальчики в синтетических курточках и пиджаках.

Первая девочка. Кто тост говорить будет?

Вторая девочка. Ну кто будет говорить?

Первый мальчик. А никто.

Первая девочка. Я так и знала. Ребята! Чокнулись и поехали.

Второй мальчик. Поехали!

Первая девочка. За Нину Павловну!

Нина. Нет, подождите! Что вы! Я хочу тост! Я хочу, чтобы про меня сказали. Рацкий, скажите тост.

Третья девочка. Рацкий, будь ласков, скажи...

Рацкий. Вообще-то, я не люблю говорить тостов...

Третья девочка. А тебе часто приходится?

Рацкий. Случалось. Нина — это...

Нина. Но только, чтобы очень, очень хорошее...

Третий мальчик (*пародируя*). Я знаю Нину с первого класса, как хорошего товарища...

Рацкий. Тосты — это вообще отживший обряд, но если вы меня заставляете...

Третья девочка. Никто тебя не заставляет.

Рацкий. Когда меня вызвали... Когда она меня вызвала...

Вторая девочка. Кто это она?

Нина. Рацкий, это была жестокая ошибка. Садись.

Рацкий. Ну вот видите, даже слова не даете сказать. Дети вообще жестокий народ. Но я бы хотел пожелать, чтобы мы, чтобы Нина никогда, никогда не ошибалась, кроме контрольных.

В кабинете Самсон что-то быстро чертил на бумаге. Академик склонился над ним уже с живым интересом.

— Подумать! — как-то даже сердито говорил Самсон. — Вы уже тогда все угадали про этот самый белок, стабилизирующий функцию мозга. Вы обогнали науку на полвека! Понимаете, на полвека!



— Однако с тех пор наука давно обогнала меня, — пошутил Никодим.

— Ни в коей мере! — вскричал Самсон. — Сейчас ваша идея только брезжит в толковых умах. Вот ваша схема с моими поправками!

И он стал что-то записывать на бумаге.

— ... И невольно приходит на память время, когда нас всех привели в первый класс!

Этот тост произносил коренастый, славенький паренек по имени Дима.

— Я прекрасно помню тот день, — продолжал он. — Осеннее солнце, чирикали воробьи...

Смех. Веселые возгласы с мест — мальчишечьи и девчачьи:

— Журчал ручеек...

— Пели жаворонки...

— Чирикали воробьи, — невозмутимо сказал, продолжая тост, Дима. — Качались гроздьи рябины...

— Дул ветер...

— Шел дождь...

— И странник искал ночлега...

— ...И тут в первый раз я увидел Нину. И сразу влюбился, — сказал Дима. — Теперь могу вам в этом открыться!...

— Вы ошиблись в двух звеньях, — говорил между тем в кабинете Самсон. — И это было естественно по тем временам. Но как вы могли усомниться в идее? И бросить все? Как?!

— Я влюбился в нее в семь лет, — продолжал свой тост Дима, — а в десять уже разлюбил. В двенадцать снова влюбился, а в четырнадцать...

Опять посыпались возгласы с мест — мальчишечьи и девчачьи:

— Повел ее под венец...



— Увез в наследственный замок...

Но Дима был стоек и невозмутим.

— ... А в четырнадцать, — сказал он, — я опять ее разлюбил. А в пятнадцать...

— Граждане! — крикнул один из гостей. — На кой ляд нам его автобиография?! Пошли на Неву!

— Ура!!!

— Я пересчитал все, — говорил тем временем в кабинете Самсон. — Схема безупречна. Вы должны бросить этот вздор, которым вы занимаетесь всю жизнь, и приступить наконец-то к настоящему делу!

— Милый друг, — сдержанно сказал Никодим. — В течение долгих лет мне не раз говорили, что я делаю не то, что нужно, и каждый считал, что я должен делать то, чего хочет он. Заметьте, я знаю, что я в науке не Геркулес, но не одним же вздором я занимался.

— Вы Геркулес! — закричал свирепо Самсон. — Поймите, вы — Геркулес, который бьет мух, потому что набил в этом руку!..

— Впрочем, оставьте вашу тетрадь, я ее просмотрю... И прошу извинить, у нас сейчас именины.

Сретенский подошел к дверям и раскрыл их. Столовая была пуста.

— А где же они? — ошарашенно спросил он.

— Кто?

— Именины.

Вскоре затем они сидели с Эльзой Ивановной вдвоем за именинным столом и ужинали в одиночестве, ибо, как мы с вами знаем, юные гости умчались в эту белую ночь на Неву.

— Надеюсь, они все же скоро вернуться, — сказал Никодим, поедая салат.

— Не надейтесь! — возразила Эльза Ивановна. — Нельзя ни на что надеяться, когда имеешь дело с нынешней молодежью. Она без духовных запросов и сердца.

— В их годы мы были лучше? — спросил он, принимаясь за куриную ножку.

— Мы?! — Эльза Ивановна только махнула рукой. — Во всяком случае, не целовались на кухне и в ванной в пятнадцать лет! Они будут несчастны, поверьте мне!..

— Не верю, сладчайшая Эльза Ивановна. Напротив. Они будут на редкость счастливы.

— И мне хочется быть счастливой! — сказала Эльза Ивановна, попивая вино.

— И мне, — сказал Никодим. — Хотя человеку вовсе не надобно слишком частого счастья. Всегда быть счастливым — это то же, что целый день есть халву.

— Мне хочется есть халву, — откликнулась Эльза Ивановна.

— И мне... Вы знаете, зачем приходил сюда человек, из-за которого я опоздал на именины?

— Конечно, нет.

— Он приходил, чтобы сообщить, что все, что я делал всю мою жизнь, — полнейшие пустяки.

— Вы?! Академик?!

— Я. И что единственное, что я действительно сделал, заключено в небольшой статейке, написанной мною лет сорок назад.

Эльза Ивановна весело замахала руками.

— И знаете, в чем он меня еще убеждал? Что мне надо бросить академию, институт и засесть на несколько лет в небольшую лабораторию, чтобы завершить то, что намечено в той статейке.

— И вы это сделаете? — Эльза Ивановна была не на шутку ошеломлена.

— Ох, Эльза Ивановна, Эльза Ивановна, — продолжал Никодим, глотая компот. — Я давно вижу, что вы считаете меня несколько не в себе. Да, я несколько не в себе. Но не до такой же степени!

Мерцал полумрак ночи. Эльза Ивановна убирала посуду с именинного стола. Никодим тревожно стоял у окна.

— Что за черт! — сказал он. — Где же Нина? Сколько же можно гулять?

— Целыми сутками, — мечтательно сказала Эльза Ивановна. — Когда я была молода, то поехала с одним молодым человеком в Петергоф. Оттуда мы поехали в Гатчину.

— Какое мне дело до Гатчины! — завопил Никодим. — Я волнуюсь, понятно? — Волнуюсь!.. Где Нина? Скоро двенадцать.

— А почему вы говорите со мной таким тоном? — возмутилась Эльза Ивановна. — Я никому не позволю кричать на меня!

— Я волнуюсь, поймите же — я волнуюсь!

— Не кричите или я уйду.

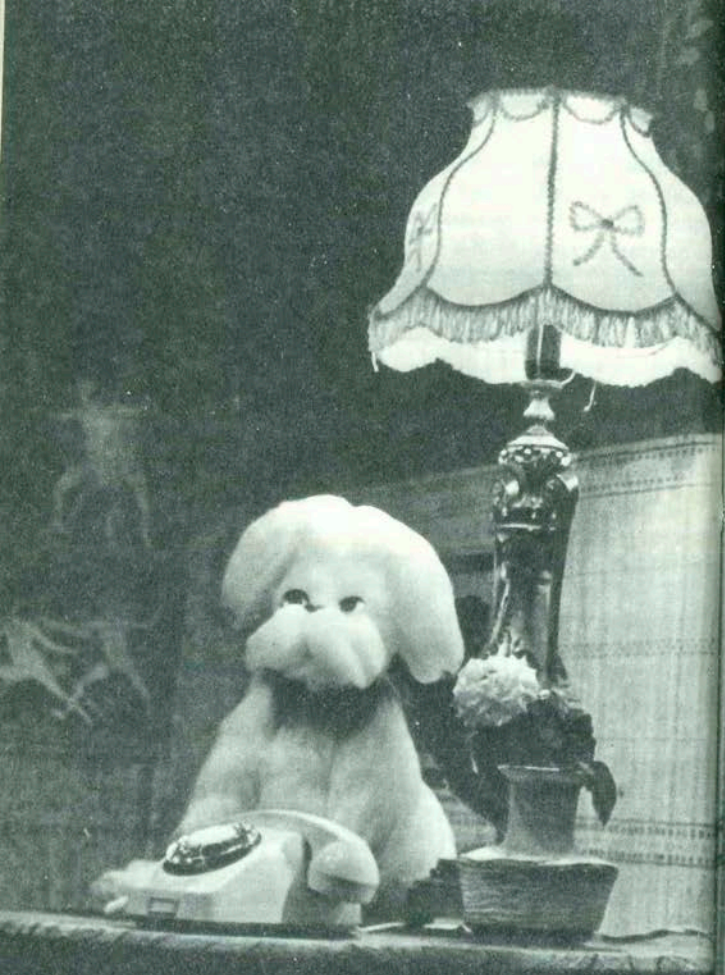
— Уходите!

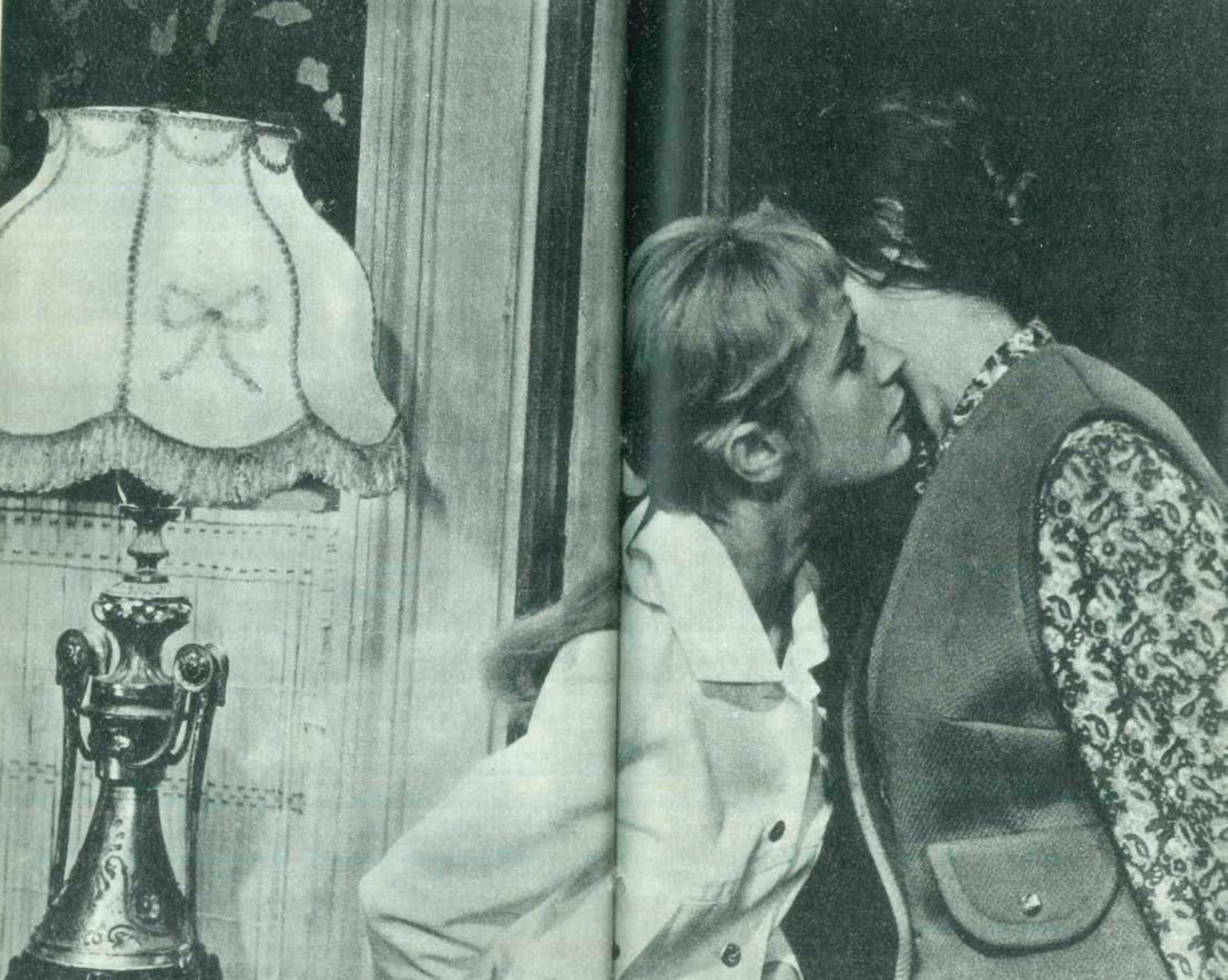
— Ах так? Тогда я уйду навсегда!
— Неужели? Вот счастье-то!
— Я уйду! — сказала Эльза Ивановна в гневе и накинула плащ. — Ищите себе домработницу!.. Если вы академик, то это не значит, что...

Дверь за ней захлопнулась, академик остался один. Скорыми шагами ходил он по комнате. Вот что-то стукнуло, прошумело под окном, зазвучали неясные голоса. Никодим рванулся к окну, распахнул его. Нет, это была не внучка, а кто-то другой, тоже с компанией друзей, но другой. Никодим в ярости захлопнул окно и опять зачистил по комнате. Раздался звонок. Никодим устремился к дверям. В дверях, когда он их открыл, стояла с чемоданом в руке женщина.



— Тася?! — ошеломленно проговорил Никодим.
Да, это была дочь его, Тася, мать Нины, уже в летах — немало ветров и ненастий пронеслось над ней. Отец не видел ее ни разу с тех пор, как она привезла к нему Нину.
Она вошла уверенно и спокойно, словно бы не прошумели годы, словно она возвратилась с легкой прогулки. Поставила чемодан, припала к отцу.
— Как ты постарел! — сказала она сквозь слезы. — Ой, как ты постарел, полысел!.. Сколько лет мы с тобой не виделись? Больше двадцати? Ну ничего, теперь я буду всегда с тобой, ты ведь у меня один!..
Он крепко-крепко прижал ее к своей старой груди.
— Дочурка моя! Родная моя!
Они сели. Она оглядела комнату.
— А ты все тут же?
— Привык. Давали квартиру, но я отказался. С годами я становлюсь чувствительным — знаешь, это все-таки дом моих предков, тут мои корни. Нельзя без корней.
— О, с этим нынче не очень считаются, — сказала она. — Не горюй, теперь я все беру на себя...
— Что твой муж?
— Я его оставила, — сказала она. — Не хотела тебе писать, чтобы не огорчать. У меня был другой человек, но теперь мы с ним расстались.
И она снова крепко прижалась к отцу.
— Как чудесно, что на свете есть старый папка, который всегда все простит. Лысый папка, к которому можно прийти под конец!.. Ты прав — человеку необходимы корни. Сколько я ни старалась, а они у меня не отросли... А где Ниночка? Ведь у нее сегодня день рождения.
Он сразу вскочил со стула, вспомнив, что Нины все еще нет.
— Представь себе, убежала куда-то со всей компанией и до сих пор ее нет. Я ужасно беспокоюсь.
— А чего беспокоиться? — беспечно откликнулась дочь. — Не попали же они все разом под автобус или под трамвай.







И словно подтверждая ее слова, щелкнул замок и в дверях показались Нина и Дима.

Нина остановилась в недоумении, глядя на Тасю.

— Знакомься, — сказал Никодим, — это твоя мама.

Мать припала к дочери и покрыла ее поцелуями.

— Нинок, доченька, совсем взрослая... Совсем взрослая, — бормотала она.

Нина немного испуганно, сдержанно, отстраненно ответила на поцелуй.

— Иди, Дымок! — сказала она Диме. — Спасибо, что проводил.

Дима вежливо поклонился, взглянул в последний раз на Нину и удалился.

— Ну, покажись, покажись, — сердечно и хлопотливо продолжала мать, поворачивая дочь то вправо, то влево. — А ты прехорошенькая!.. Ты помнишь меня? Но что это за приче-

ска? А эта вышивка!.. Нет, все это надо переменить, не беспокойся, теперь я буду с тобой! — ласково и с любовью твердила мать.

— Я пойду спать, — сказала Нина, обращаясь к одному деду.

— А ты не хочешь с нами поговорить? — спросил дед.

— Я очень устала, — сказала Нина и ушла.

Тася огорченно вздохнула.

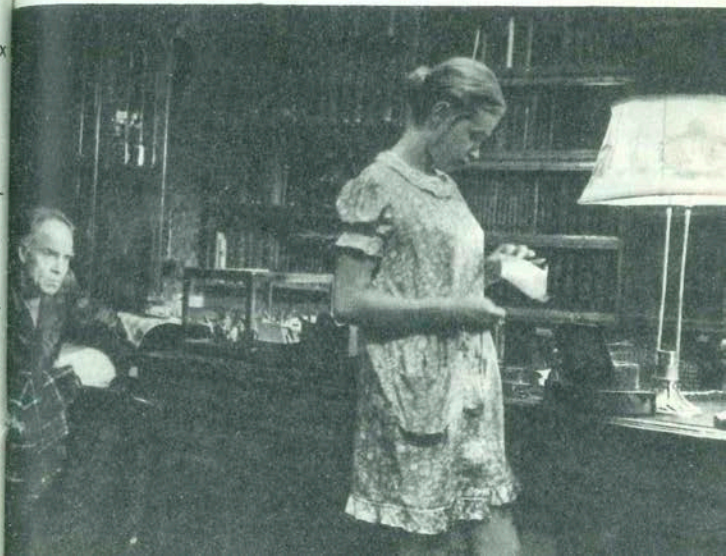
— Она холодна и груба. Ты ее плохо воспитал.

— Я ее не воспитывал, я просто ее любил.

Никодим лежал на диване в своем кабинете и читал, готовясь ко сну, когда приоткрылась дверь и шмыгнула в пижамке Нина.

— Дедушка, можно к тебе?

— Конечно, родная моя!



— Дед, а она что, у нас будет жить?

— Вероятно. Она твоя мать — и это много. И потом она человек, которому сейчас нелегко. И это тоже много.

— Пусть живет!

Нина вдруг смолкла и внимательно посмотрела на деда.

— Дед, хочешь, чего я тебе скажу? Только тебе одному! Хочешь? Дед, а я, наверно, влюбилась.

— В Диму?

— Слушай, ты знаешь, что он мне сегодня сказал?

— Что?

— Чтобы мы поженились.

— Ну и женитесь.

— Да ты что? Он еще такой ребенок... И потом...

— Что потом?

И вдруг Нина снова прильнула к нему, но уже вся светясь, радостная и легкая.

— Так, ничего, просто жизнь хороша!

— Жизнь изумительна, — сказал дед. — Надо только самим не портить ее. Только не портить. Вот в чем задача.

Вошла Тася в ночном халатике.

— Веселитесь? Можно посидеть с вами немножко?

— Спокойной ночи! — сказала Нина и вышла.

— Что с ней? Она не хочет меня видеть? — спросила мать.

— Ей просто хочется спать, — отозвался дед. — Она очень устала... Знаешь, сегодня один человек пришел сказать мне, что я зря прожил свою жизнь.

Это был скромный деловой кабинет, где работал Куратор, ведавший академическим институтом, руководимым Никодимом Васильевичем.

В кабинете сидели двое: Куратор и Никодим.

— Признаться, вы меня ошарашили! — сказал Куратор. — Что случилось? Вас обидел кто-нибудь? Вы недовольны чем-нибудь?

— Нет.

— Вы отдали институту жизнь, вы создали школу. Вас знает весь мир и вдруг все бросать! Возможно ли это, Никодим Васильевич?..

— У вас есть полчаса времени? — спросил Никодим. — прошу вас, выслушайте меня внимательно.

В этот же час в прихожей домика Никодима стоял Самсон. Дверь ему открыла Тася.

— Никодим Васильевич еще не вернулся? — в беспокойстве спросил Самсон.

— Он у начальства.

— Это я знаю... Можно обождать?

— Конечно.

Они прошли в столовую. Тася, в косынке и фартуке, убирала что-то на полках и подоконнике.

— Послушайте, — вдруг сказала она. — А ведь мы с вами знакомы.

— Да?

— Я тогда приезжала сдавать экзамены, — оживленно проговорила она. — А вы были такой лохматый-лохматый. В какой-то ковбойке... Помните, как мы гуляли в белые ночи по Ленинграду?.. И целовались. Ой, целовались!!! Потеха! Мне кажется даже, что я была вами увлечена, — сказала Тася. — И, кажется, даже очень!.. Вот забавно. Да?..

Молчание.

— Вы женаты? — спросила Тася.

— Да.

Молчание.

Между тем разговор в кабинете Куратора продолжался.

— Видите ли, дорогой Алексей Ипполитович, — говорил Никодим. — Я старик. А старику плохо спится. А когда плохо спишь, то о многом думаешь. Вот я и подумал о том, как



ужасна сила привычки. Девять десятых жизни — это привычка, и каждый из нас совершил бы неизмеримо больше, если бы не она. Словно тебя поставили на магнитное поле и ты катишься, катишься, не в силах сойти. Вот и пробую это сделать.

— Что?

— Сойти с магнитного поля.

— Ну, не знаю, не знаю, — сказал, разводя руками, Куратор.

Тася и Самсон все еще сидят в столовой.

— А я все ищу и ищу подходящего человека, — сказала Тася. — Все ищу и ищу... Вы ее любите? — спросила она.

— Кого?

— Жену.

— Очень.

Молчание.

— А кто она? Чем занимается?

— Моя жена?

— Да.

— Она министр.

Молчание.

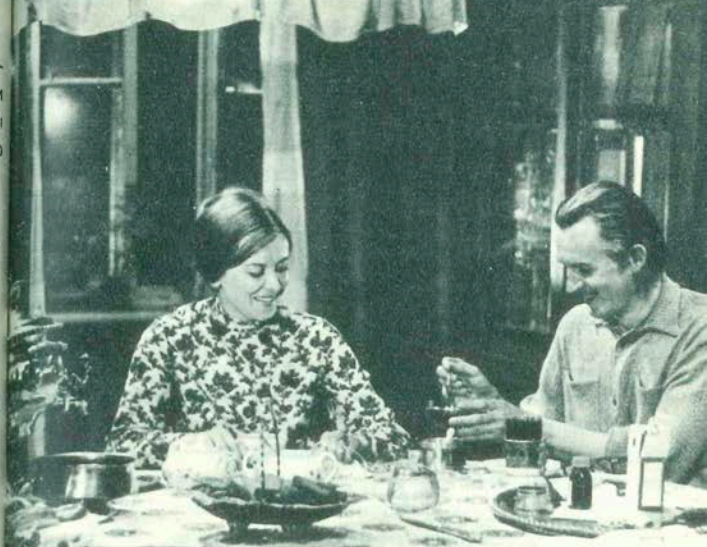
— Позвольте мне выразить мнение, как вашему давнему другу, — сказала Тася. — Я с юности уважаю женщин на руководящей работе, но это, извините, не жены!

— Почему?

— Для женщины слишком существенна личная жизнь, чтобы тратить энергию на заседания. Нет, вам нужна совсем другая жена!

— Вы так считаете?

— Я в этом убеждена. Жена ученого должна посвящать себя всецело ему. Она обязана идеально наладить жизнь, охранять мужа от всяких внешних помех. Пусть это будет порой для нее мучительно, порой оскорбительно, но эту жертву ей надо принести... Я не права?



— В чем?

— В том, что сейчас говорила.

— Простите, о чем вы сейчас говорили? — учтиво спросил Самсон.

— Итак, насколько я понимаю в химии, вы жаждете успокоить человечество, — с мягкой улыбкой сказал Куратор. — Что ж, эта идея любопытная.

— Представьте себе! — откликнулся Никодим. — И это совсем не смешно. Дело не в успокоении человечества. Как вы изволили заметить, я знаю не хуже вас, что лекарствами человечество не успокоишь и не утетишь. Моя идея качественно отличается от всех нынешних способов воздействия. Я хочу научиться активно управлять покоем мозга, стабилизировать его работу, внести равновесие, гармонию.

И вот, выражаясь торжественно, я хочу посвятить остаток дней моих разработке этой проблемы. Мне нужна всего-навсего небольшая группа.

— Ну и что же... одобрительно заметил Куратор — Вам будут созданы все условия. Пожалуйста, ищите, но оставайтесь при этом директором института.

— Не могу! — возразил Никодим. — Я должен сосредоточиться на одном. Бежать от текучки и давки, стать маньяком, рыдать от отчаяния и кричать от восторга. А это, насколько мне известно, несовместимо с директорством.

— Да, я идеалистка! — горячо говорит Самсону Тася. — Я неисправимая идеалистка! И я верю, что найду в конце концов человека, которому буду необходима. Верю. Мне нужен простой, работающий, культурный человек, который...

— Ничего не пойму! — в ярости закричал Самсон. — О чем он четыре часа говорит с начальством?! О чем, скажите на милость? Разве можно так долго болтать?!

Никодим вышел из подъезда дома, где работал Куратор. Вечерело, улица казалась пустынной — это могла быть либо Галерная, либо одна из дальних набережных Мойки, но это была именно ленинградская улица, неповторимая своим строем фасадов, сквериков, дворовых ворот. И, повинувшись взору идущего Никодима (подобно тому, как это было много лет назад, когда он стоял на набережной Невы), камера детально исследует все это, столь ленинградское, находя все новые, смешные и трогательные и, может быть, драматические черты.

Но вот и знакомый нам большой дом с колоннами, где некогда помещалась гимназия. По-прежнему, как тогда, когда Никодим пришел сюда с юной Тасей, сосавшей свое эскимо, стоял, ссутулившись дуб, а под ним, на вытоптанной площадке, там, где когда-то лежал каток, рядами виднелись

гаражики и кто-то возился над «Волгой». Никодим неподвижно смотрел. Сколько же пройдено, найдено и потеряно, сколько всего прибавилось и убавилось, потяжелело и полегчало с тех пор, как он был тут с Тасей...

И вдруг, как тогда, по невнятной причине стали стираться гаражики, растворилась «Волга», заблестел лед. Задымился снежок, засверкали огни. Зазвенел вальс. И закружилась на льду непонятная девочка под гирляндами света, уплывшими вдаль.

В ней был все тот же туман, невыясненность, неутвержденность, но все же она была уже как-то ясней. Отчетливей стали руки, ножки, тугие чулочки, даже, пожалуй, фигурка, только лицо оставалось по-прежнему стертым — туман, быстролетность, расплывчатый миг.

А вслед за тем опять тишина, ленинградское лето, гаражики, дом бывшей гимназии, вечер. И близится белая ночь. И небо, к которому подошла эта ночь. И дома, готовые к белой ночи...

Никодим открыл ключом дверь своего домика на Васильевском и спросил Тасю, которая убирала посуду:

— Самсон ушел?

— Да. Он ждал тебя, волновался. Потом ушел.

Никодим снял пиджак и засучил рукава, готовясь к умыванию. Но неожиданно Тася, рыдая, припала к нему.

— Папочка, как мне тяжело! Как мне тяжело! — бормотала она.

Потрясенный, он целовал ее.

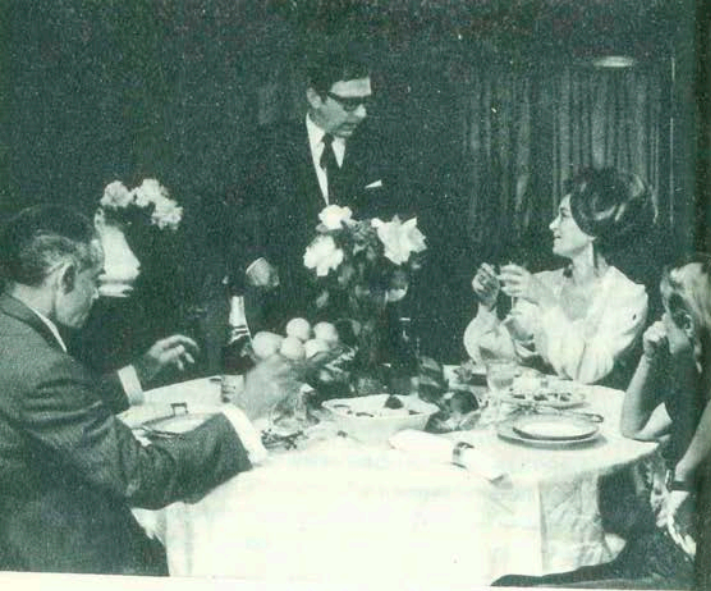
— Что с тобой? Что ты?

— Папочка, как мне одиноко! Как мне страшно одной!

— Но ведь я с тобой, я всегда с тобой!..

— Какая я невезучая! Папочка, что мне делать? Как жить?

— Но ведь я с тобой! Я всегда с тобой!..



— Я не умею красочно выразить свою мысль, профессор,— говорил человек лет сорока в парадном черном костюме. Он держал в руке бокал шампанского и обращался к Никодиму Васильевичу,— но я счастлив... я горд... что вхожу...

Он замялся, мучительно и несмело подыскивая слова. Наступило тягостное молчание.

Старый дедовский стол был снова по-праздничному накрыт. На сей раз за ним находились четверо: Никодим Васильевич, Тася в праздничном платье, оратор в черном костюме и Нина. Лицо у Нины было свинцовое.

— ...что вхожу,— продолжал оратор,— в вашу уважаемую семью... озаренную гением человека... который...

Он снова запнулся и вынул платок, отирая выступивший на лбу пот.

— Он очень застенчивый,— пояснила Тася.— Ну говори, Вадик, говори! — сказала она.

— ...имя которого,— продолжал Вадим,— я привык чтить со студенческой скамьи... и который... является символом... честности, служения идеалам...

Он в третий раз оборвал свою речь и стоял в совершенной растерянности, теребя в руках бокал.

— Ну чего же ты? — ласково поощрила его Тася.— Ну перестань мямлить, ты в своей семье. Говори, говори!

— Я человек молчаливый,— сказал, наконец, Вадим.— Я скромный научный работник... и не умею красочно изложить все то, что... в общем, испытываю... в этот час, когда... Но я... Словом, я...

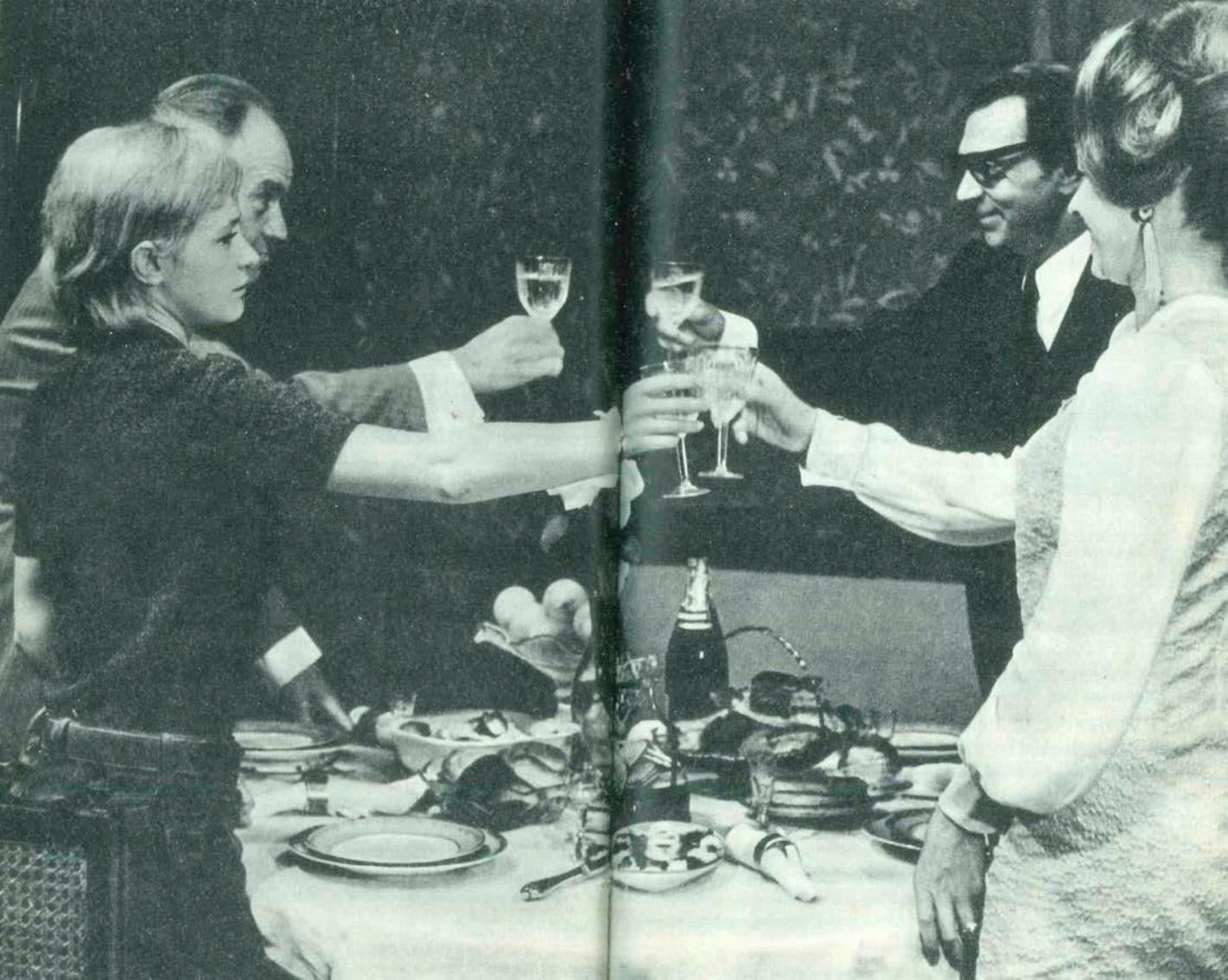
Он окончательно осекся и умолк, в отчаянии глядя на Никодима Васильевича.

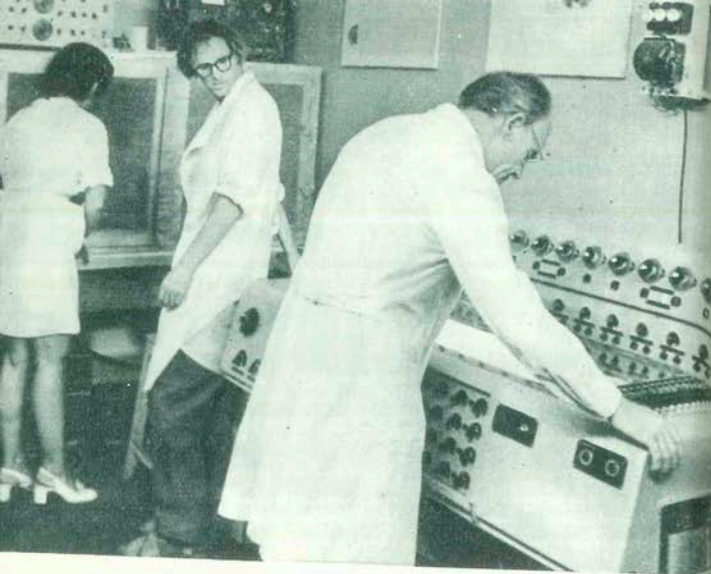
— За здоровье молодоженов! — сухо сказала Нина, поднимая бокал.

Все встают, чокаются.

И опять потемнел экран, а когда посветлел, то опять сидели, лежали, скакали на конях солдатики. Оловянные, деревянные, костяные — вся коллекция Никодима. Они стреляли, устремлялись на штурм, лежали на госпитальных носилках. Опять шли их стройные, веселые, не знающие страха ряды. И звучала все та же простенькая мелодия. Но теперь тут были уже и скрипки, и виолончель, и, может быть, даже арфа...

Никодим Васильевич Сретенский и Самсон Котиков сидели поздно вечером в своей лаборатории и просматривали протоколы дневных опытов. Здесь было много рабочих столов со сложными установками, но в этот час столы, естественно, пустовали. Самсон читал вслух протоколы опытов и передавал листы Никодиму Васильевичу. Тот просматривал их.





— Двадцать вторая серия псу под хвост. Катастрофически плохо...

— Настоящему мыслителю, мой дорогой Самсон, — сказал Никодим, — никогда не бывает хорошо. Когда у человека таланта и воображения все очень хорошо, он должен уйти к себе в кабинет, запереть за собой дверь на ключ, сесть за письменный стол и подумать, нет ли тут какой заковыки.

— Никогда не поймешь, — заметил в досаде Самсон, — когда вы всерьез, а когда острите!

— Представьте, именно это говорила моя жена, перед тем как мы навсегда расстались. Она говорила, что я невнимателен к ней, не хожу с ней в цирк, часто задумываюсь, молчу, не читаю ей вслух газет. И что никогда нельзя понять, когда я шучу, а когда серьезно.

— Да поймите меня, я готов потеть в этой лаборатории хоть тысячу лет! — сказал остервенело Самсон, передавая

Никодиму Васильевичу очередной лист, — но меня колотит от того, что пока мы с вами тут бьемся, мечемся, целые табуны, отары наших коллег тискают книги, заливаются жаворонками, и им разлили малина!.. Я бы давил таких!

— Ну-ну, — отозвался Никодим. — Надо быть терпимей к коллегам, мой дорогой Самсон. Это первое правило благородного человека.

— Бить, крушить, молотить этих жаворонков! — в бешенстве пробормотал Самсон. — Они опасны для социализма.

— В те годы я мало смыслил в семейной жизни, — продолжал Никодим о своем. — И мне казалось, что не может же, господи, настоящее горе женщины проистекать от того, что муж не ходит с ней в цирк и не читает ей вслух газеты!.. Но вот жена ушла от меня и нашла себе другого мужа, и оказалось, что хотя я философ, а он бухгалтер, но с ним она счастлива, а со мной была несчастна. И мне, представьте, это было чрезвычайно досадно всю жизнь.

— Ей-богу, мне это неинтересно! — сердито прервал Самсон.

— Да, да, как ни странно — всю жизнь! — повторил Никодим. — А это куда не годится: человеку не нужно тащить за собой через жизнь обиды, как не нужно тащить за собой претензии к родственникам, воспоминания, окачурившиеся надежды и рецепты, как жить. Без этого легче и сердцу и спине.

Он замолк, делая какие-то пометки на очередном листе...

Никодим и Самсон возвращались домой после долгой вечерней работы. Они шли по темному Ленинграду. Лишь кое-где в окнах горел свет: там шла жизнь, еще не отошедшая ко сну. И мимо наших друзей, высвечиваясь и снова теряясь во тьме, шли как бы обрывки ночи: в одном окне женщина беспокойно склонялась над больным, в другом — ужинали, в третьем — целовались, в четвертом —

некто бессонный сидел за бессонным столом и бессонно писал. Курил ночной сторож в дверях ювелирного магазина, сгружали у булочной хлеб, прокричала «скорая помощь», проплыл пустой троллейбус.

— Воображаю себе, как нас с вами будут гвоздить на ученом совете, — говорил раздраженно Самсон. — И как вы даже не сможете отругаться!

— Дорогой мой, — сказал академик. — Заметьте себе, что отругаться — это не самый верный путь к истине.

— Ну еще бы! — вспыхнул Самсон. — Вы будете защищаться, вместо того чтобы нападать. Щеголять своей вежливостью. А потом отречетесь от нашего дела.

— Да, отрекись, если мне докажут, что я неправ, — спокойно сказал Никодим.

— Кто вам докажет? Кто?! Эти полузнайки!

— Неверно! Это все очень знающие и чрезвычайно умные люди.

— Поздравляю вас! — желчно сказал Самсон.

Они проходили теперь мимо длинного ряда ярко освещенных окон. Это была швейная фабрика, и было не видно и не слышно, как стрекочут машины и бежит пошивочный материал под руками работниц. Быстрый, ловкий, сложенный к труду.

— Вы слишком торопитесь стать Коперником, славный Самсон, — сказал академик. — Так не годится.

— Почему. собственно? Я хочу быть Коперником! — в гневе воззвал Самсон. — И как можно быстрее! Вы, конечно, скоро сбегите и вернетесь в директора. Я и так удивляюсь вашему долготерпению. А я от вашего замысла не отступлюсь.

— Конечно! Коперник должен пылать.

— Не острите, когда я сержусь.

— Коперник должен пылать, — повторил Никодим. — Но одновременно понимать, что замысел — это всего лишь дитя. Из него может выйти Гёте и может выйти посредственность, а может вообще ничего не выйти.



— Не отступлюсь! — возопил Самсон. — Возвращайтесь в директора! Уходите! А я с пятнадцати лет пролетарий, я не отступлюсь!.. Прощайте, я хочу спать.

— Подождите. Мне кажется, что мы сами напутали в последней серии. И кажется, я понял где.

— Где, где?

Она постучалась к нему в кабинет, когда он уже лежал на диване и читал.

— Дед, можно к тебе?

— Конечно. Входи, входи.

Это была Нина. Ей теперь почти восемнадцать лет. Она была тонкая, быстрая, какая-то лучезарная, торжествующая. Одета в пижамку.

— Ты не спишь? Я посижу у тебя... Ты лежи, лежи!..
Она присела к нему и некоторое время глядела на него
ликующими, но как-то странно отсутствующими глазами.

— Ты что-то осунулся,— сказала она.— Похудел.

— Много работы. И тьма неудач.

— И что? — лучезарно сказала она.— Надо быть твердым, не унывать, верить в то, что ты делаешь, и все утрясается.

— Ты думаешь? Ну спасибо.

Она снова долго, светясь и отсутствующе, глядела на него.

— Ой, дед! — сказала она.— Ой, дед ты мой, дед! Ой, как мне хорошо!.. Слушай, чего я тебе скажу, тебе одному. Только не говори им.

— Кому?

— Этой маме и ее мужу... Дед, я влюбилась.

— Всерьез?

— Всерьез. Он доктор, лечит людей. Он тебя знает. Он говорит, что ты громадный ученый.

— Вот как? Спасибо ему.

— Теперь слушай. Это потрясающая история, как мы познакомились. Тысяча совпадений, но ты-то, конечно, материалист. Ты же в судьбу не веришь, но это действительно судьба. Он взрослый, и он хочет, чтоб мы поженились. Ну что ты молчишь?

— Я думаю...

Она по детской привычке крепко-крепко прижалась щекой к его щеке.

— Ой, дед, как мне хорошо!.. Ой, до чего ж я счастливая! А можно быть счастливой всю жизнь? — вдруг в тревоге и счастье спросила она.

— Конечно,— ответил дед.— Но это редко кому удается...

— Не ворчи! Все же так хорошо. Мы будем жить вместе. Я не могу без тебя. А этот дом мы оставим.

— Кому?

— Этой маме и ее мужу... Дед, а ты влюблялся когда-нибудь? Так, чтобы в пух!

Вопрос казался ей очень забавным, она лукаво и весело рассмеялась.

— Еще бы!.. И в первый раз, когда мне было четырнадцать и ей четырнадцать. Влюбились и целовались.

Она всплеснула руками да так и зашлась от смеха.

— И целовались?!

— Да, очень крепко.

— А какая она была? — с живым интересом спросила Нина.

— Ты знаешь, уже не помню. Помню, что целовались, давали друг другу зарок. А какая она — не помню. Что-то кружится перед глазами, какая-то пестрота, какие-то полосы, очертания. Странно! Как будто все помнишь, что было, и ничего не помнишь...

— Ой, старик ты мой дорогой! — с огромной любовью сказала она.— Совсем ты старик!.. И почему тебя так все боялись в твоём институте? Ты же такой простой. И такой понятный.

— Точно. И глуповатый.

— Не прибедайся! — сказала внучка.— Ты вовсе не глупый. Ну ты мне будешь советовать-то или нет?

— Слушай,— сказал он,— ведь это только болтают, что старые люди знают ответ на все. Но я скажу тебе то, что говорил твоей маме, когда ей было столько лет, как тебе: будь осмотрительной.

— Дед, но я же не мама, ты же знаешь! — раздраженно воскликнула Нина.— Вот это совет! Все вы такие!

Он опять помолчал.

— Будь осмотрительной,— повторил он.— Я понимаю, что это дурацкий, старомодный совет, но ничего не поделаешь. В твоих обстоятельствах он пока на свете единственный, и помни, что я даю его тебе потому, что прожил долгую жизнь и нет у меня никого любимей тебя и ничего дороже и ближе.

Наверно, он был чувствительным, как все старики, потому что вдруг быстро смахнул что-то с краешка глаза. Нина в испуге уставилась на него.

— Дед, миленький, ну что ты? Что с тобой? Я тебя никогда не оставлю. Не бойся, ты будешь жить с нами... И я буду умная, буду учиться... Дедушка, я ведь так люблю его, так люблю! Мы скоро с тобой отсюда уедем. Только не говори никому. Особенно тем...

— Кому?

— Этой маме и ее мужу.

И опять зазвучала знакомая мелодия. Но теперь поприбавилось и скрипок, и кларнетов, и флейт, и валторн, и гобоев, и труб. Да и мелодия, простая в своей основе, стала сложней, многогранней, размашистей. И вроде бы даже требовательней и грозней.

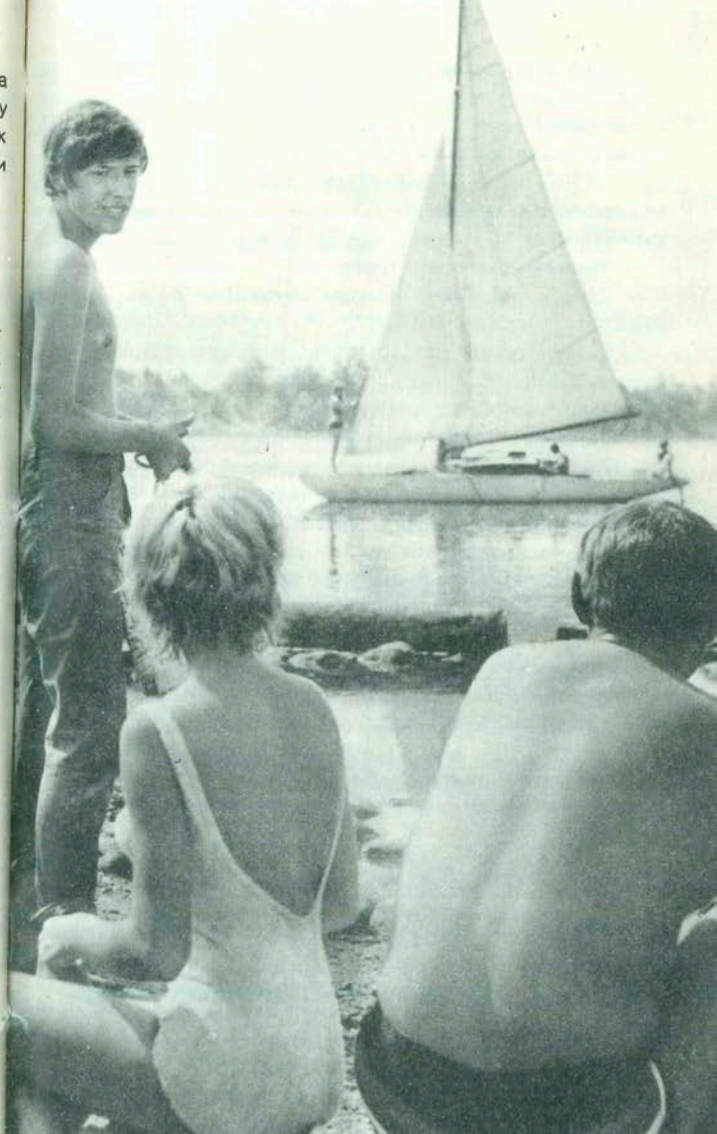
И под эту мелодию, как всегда, на экране возникли игровые солдатики. Отдыхающие, опершись о ружья. В киверах, фуражках и касках. Сидящие у костра. Шагающие в торжественном марше.

Потом все ушло, остались экран и мелодия. Потом ушла, как дымок, мелодия. Остался только экран.

Их было трое, и они сидели на пляже одного из курортов Финского залива под Ленинградом, где-нибудь возле Комарова или Зеленогорска. Стояла поздняя осень, было холодно, пляж совершенно безлюден. То и дело набегал туман. Потом понемногу светлело и тогда возникал, как видение, далекий купол Кронштадтского собора.

Затем опять наплывала мгла.

Двое из троих, сидевших на пляже, были им знакомы: Нина и Дима. С третьим мы встретились в первый раз. Ему было немногим за тридцать. Это был доктор. Дадим ему имя Олег. Вокруг пестрело все то, что бывает на пляжах глубокой осенью: заколоченные ларьки с надписями «Пельмени», «Галантерея», «Мороженое», «Сосиски», сведенные в пирамиды скамейки, обрывки газет, лоскуты.



— Забавно, — сказал, улыбаясь, Олег, — но этот пляж, ей-богу, походит на человечество. Каждое поколение оставляет после себя к зиме лоскуты, заколоченные сосисочные, сложенные скамейки. И каждое новое поколение весной опять все чистит, подметает, и красит, и приступает к продаже мороженого и пельменей. Все молодо, деятельно, гремят карнавалы.

— Чушь! — отозвался Дима.

— Дымок, ты нынче совсем очумел! — резко сказала Нина.

Нахлынул туман, закрыл пляж, а с ним и трех наших героев. Слышался только смех и голосок Нины:

— Ну и туманище!

— А я обожаю туман, — сказал вызывающе Дима.

— Да ну?

— И ненавижу философскую чехарду!.. Я не актер и не доктор, я человек простой. Я люблю гитару и барабан.

— Нет, ты начисто обалдел! — удивленно сказала Нина.

— И шпионские фильмы! — продолжал Дима. — Я середняк, заурядность, банальщина и пошляк. И говорю вам это открыто!.. А если вы не желаете быть со мной в одном обществе, то не стану вас утомлять!..

Он яростно встал, пошел вдоль обрыва и скрылся.

— Что с ним? — спросил пораженно Олег.

— Да ну его! — легко и смешливо сказала Нина. — Какое счастье, что он отвязался. Давай посидим. Обними меня. Не бойся, тут нет никого, никто не увидит. А если увидят, то шут с ними!

...Догорает костер. По заливу плывет пароход. Приближается яхта. Гремит транзистор.

— Эй! Все в порядке! — слышен голос Димы. — Можно сниматься с якоря. Ну что вы копаетесь? Все же вас ждут.

— Слушай, Димка, вы поезжайте, а потом заедете за нами, — предложила Нина.

— Но ты ведь так хотела в Петергоф? — удивился Дима.

— Хотела, а теперь не хочу... Да, и привези мне мороженое.

— Какое?

— Ну такое, коричневое с орехами.

Дима расстроен...

Нина и Олег смотрят на уходящую яхту.

Появились солдатики — из олова, дерева и кости. Их вынимал из ящичков своей коллекции, разглядывал в лупу и расставлял на столе Никодим. Был тихий, семейный вечер.

Тася что-то вязала, сидя в качалке. Ее муж Вадим, в очках, с горсткой остро очиненных карандашей под рукой, корпит над проектом.



— Где Нина? — спросил, не обращаясь ни к кому, Никодим. — Она сказала, что будет в восемь, а сейчас одиннадцать.

— Ты слишком ее распустил, — откликнулась Тася. — Она стала еще грубей... Тут что-то не то. Она влюблена.

— Она тебе об этом сказала? — спросил Никодим.

— Нет. Но меня не обманешь, у меня чутье матери.

Никодим построил своих многовидных солдатиков в правильные ряды.

— Она прелестный, умный человечек, — сказал он. — Но порывиста и своенравна.

— Она дерзка и нахальна, — отрезала мать. — Но что с нее спросишь: она росла без материнского глаза.

— И кто в этом виноват?

— Спасибо. Я, — раскаянно проговорила Тася. — Я во всем виновата. Одна я. Всю жизнь я металась в поисках человека, которого бы смогла по-настоящему полюбить, и только сейчас нашла. — Она приблизилась к Вадиму и обхватила его шею руками. — Посмотри, как он похудел, — горестно обратилась она к отцу. — И все из-за этой проклятой работы, — она кивнула на проект.

— Как? Вы ее еще не кончили? — спросил Никодим.

— Бесчисленные поправки, — тихо сказал Вадим. — Каждый требует своего.

— А он все исправляет и исправляет. — Тася гневно работала спицами.

— Не падайте духом, Вадим Леонидович, — посоветовал Никодим, передвигая свои игрушечные войска. — Оценка научных успехов редко бывает быстрой. Говорю вам это, как академик. Все стоящее всегда сначала вызывает поправки и уточнения и даже, представьте, зависть. Но вы победите!

Тася метнула подозрительный взгляд на отца, она знала эту его манеру говорить не то всерьез, не то в шутку.

Открылась дверь, вошла Нина.



— Добрый вечер! — сказала она, прошла к буфету при общем молчании, вынула масло, сыр, колбасу, хлеб и села за стол.

— Ты где была? — спросила Тася.

— Гуляла.

— Одна?

— Ну, естественно, нет.

— С кем же?

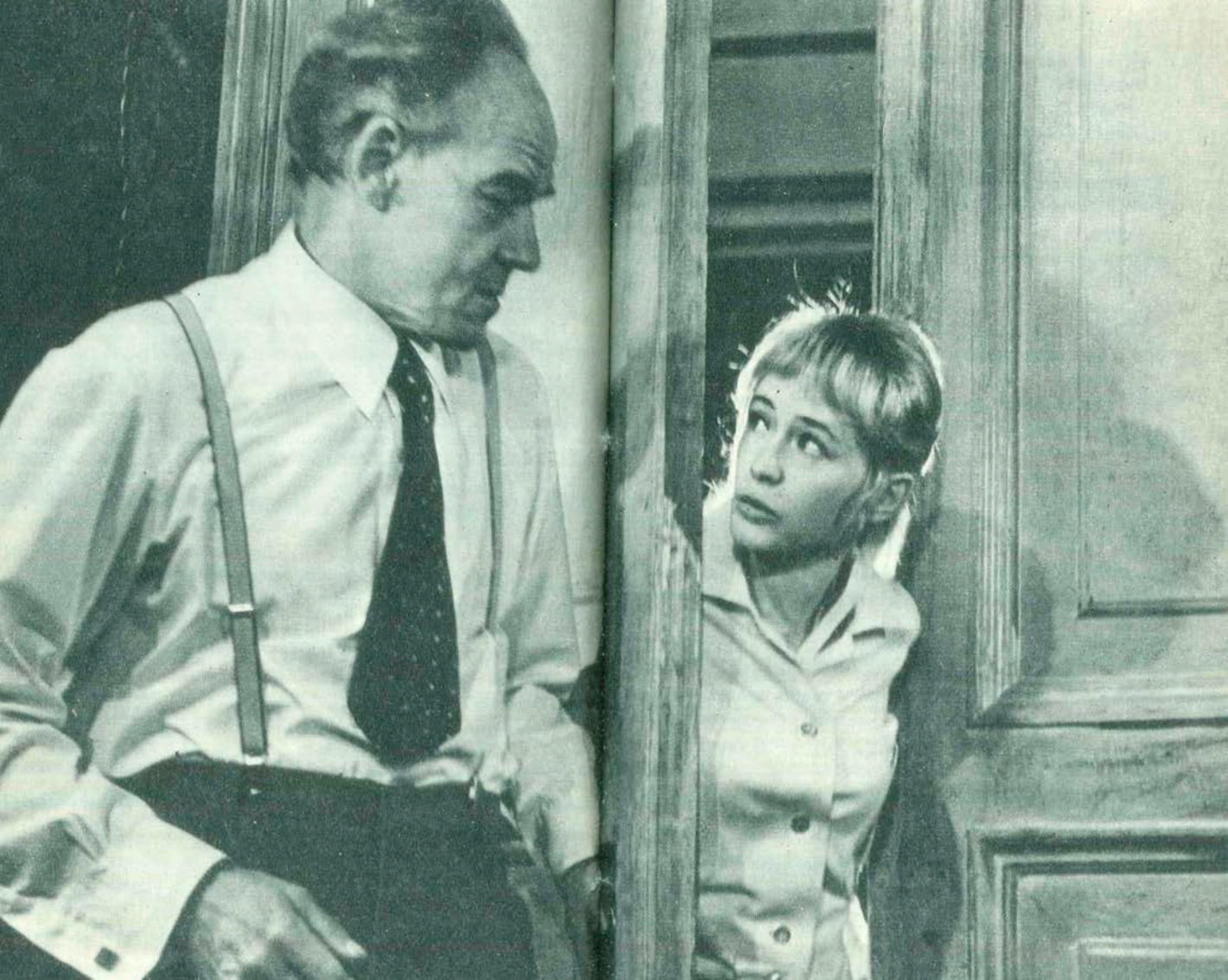
— Тебя это очень интересует? С возлюбленным. Наступило молчание.

— Это как понимать? — спросила мать.

— Послушай, — спокойно сказала дочь. — Прошу тебя, помолчи.

— Нина! — строго прервал ее Никодим.

— Дед, пусть она помолчит.



— Ты с кем говоришь?! — в голос крикнула Тася. — Я твоя мать!

— Ты?! Слушай, мама, прошу, уйди в свою комнату и прихвати с собой мужа.

— Нина! — грозно сказал Никодим.

— А ты что молчишь?! — вдруг накинулась Тася на мужа.

— Я, Тасенька, не молчу... — слабо сказал Вадим.

— Нет, ты молчишь! Ты заступишь за жену. Скажи, что ты не позволишь со мной так разговаривать!

— Знаете что? — Нина намазала масло на хлеб. — Без вас было так хорошо, так тихо, — сказала она жуя.

— Тасенька, может, действительно, пойдем к себе? — робко промолвил Вадим.

— Сиди! — прикрикнула Тася и вдруг в ярости обратилась к отцу. — Тебе это нравится? Я знаю, ты радуешься, когда она мне грубит! Тебе все в ней нравится. Даже то, что у нее есть любовник... Ты смешон, понимаешь, смешон во всем. Над тобой все смеются.

— Ты полагаешь?

— Я это знаю! Еще бы! Оставить место из-за какой-то ерунды. Три года корпеть над...

— Не кричи на дедушку! — сказала Нина. Но как это часто бывает в семейных ссорах, огонь уже неотвратимо перекинулся на Никодима.

— Хочешь знать, что о тебе говорят? — крикнула Тася отцу. — Что ты выдохся. Что этот Самсон обвел тебя вокруг пальца, а сам ты уже ничего не можешь в науке. Ноль! И это молодые о тебе говорят, молодые!.. Скажи ему, что это правда, — обернулась она к Вадиму. — Я права или нет?

— Не надо нервничать, Тасенька, — пробормотал Вадим.

— Подумать только! — крикнула Тася. — Был всем и стал ничем! Ради чего?.. Типичный интеллигент!

— Ты кончила? — спросил Никодим, переставляя солдатиков. — Так вот. Я действительно интеллигент. И твой дед интеллигент. И твой прадед — интеллигент. Я из той самой

русской интеллигенции. И как интеллигент я говорю тебе: я очень люблю тебя, Тася, но если когда-нибудь ты и твой муж разрешите себе вмешиваться в мою жизнь и работу, то действительно вылетите отсюда, как пух!.. Запомни это!.. А теперь ступайте к себе. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи! — сказала Тася, вставая и иронически оглядывая отца и Нину. — Пойдем, Вадик. Ну и попал ты, милый, в семейку!

Они ушли. Долго стояло молчание.

Нина сидит в кабинете деда.

— Скажи, это правда? — спросил Никодим.

— Что?

— Про любовника.

— Пока нет, — ответила Нина. — Но приготовься, дорогой, к тому, что это может стать правдой.

Заседал ученый совет института. Точнее, это было уже завершение заседания. Выступал с заключительным словом Докладчик. Мы слышим финал его речи.

— Суммируя, надо признать, — говорил Докладчик, — что на сегодняшнем заседании было высказано много полярных суждений о состоянии дел в группе академика Сретенского. Но главный вывод нашей комиссии нимало не опровергнут. А этот вывод в том, что за несколько лет группа ни к чему не пришла, перспектив не имеет и работу полезно приостановить.

— Ха-ха! — крикнул с места Самсон.

Докладчик сердито взглянул на него сквозь очки. Это был тот же Докладчик, что некогда выступал с торжественной речью на юбилейном собрании в честь Никодима. Теперь его тон был уже не таким.

— Ха-ха! — повторил Самсон в ответ на его взгляд.

В зале заседания плавал табачный дым, очертания сидящих в президиуме были как бы не в фокусе, сглажены

Отчетливо проступали всего лишь четверо: Докладчик, Куратор (он вел заседание), Никодим и сидящий с ним рядом Самсон.

Куратор взглянул на Самсона, призывая его к спокойствию.

— Научные данные нашей проверки доложены вам, — продолжал Докладчик. — Позволю себе как председатель комиссии добавить к ним всего лишь частное замечание, оно касается нашей общей тревоги за судьбу академика Сретенского, ибо наша критика ни в коем случае не направлена против Никодима Васильевича, столь прославленного своими прежними блистательными работами. Она продиктована огромной встревоженностью за него, великой заботой о его таланте. В течение долгого времени мы восхищались неутомимостью и государственностью его усилий. И внезапный, необъяснимый уход от конкретных, четких задач, стоящих

перед нашим институтом, к проблеме неясной, нечеткой и даже, скажем, фантастической...

— Ха-ха-ха! — повторил Самсон.

— Товарищ Котикив! — обратился к нему Куратор.

— ...остро беспокоит его друзей и соратников, — продолжал Докладчик, — мы предупреждали, предостерегали, просили академика Сретенского, но он стоял на своем. И что же? Горько сказать, но академик Сретенский, в свое время столько сделавший для страны, постепенно теряет свое влияние и авторитет. Может ли наш институт с легким сердцем смотреть на это?

— Нет, не может! — откликнулся с места Самсон.

— А теперь я хочу, — заключил Докладчик, скосив на Самсона крутой кипяток своего зрачка, — отдельно остановиться на роли кандидата наук Константина Николаевича Котикова. Это злой дух академика Сретенского. Я вообще не могу понять, откуда у нас в институте вдруг появился Котиков, человек грубый, несдержанный, своенравный и невежественный. Кто он такой? Я знаю академика Сретенского, но абсолютно не знаю кандидата наук Котикова!

— Да ведь и я вас не знаю! — отозвался Самсон.

Шум, возгласы, смех...

В этот же самый час, в хмурый день, на самой грани зимы Дима и Нина вышли с гурьбой студентов из университета на набережную и остановились у той самой балюстрады, где когда-то стоял Никодим в ожидании сдававшей экзамены Таси.

Нина и Дима бегут к остановке автобуса.

— Нин? Может, я провожу тебя, а? Можно? — вызвался Дима.

— Нет, мне по магазинам, — Нина явно нервничала, как это бывает, когда куда-нибудь горячо и тайно спешишь и не можешь избавиться от внезапного спутника.

— И что? Пойдем вместе, — кратко ответил Дима.





— Да... А потом к зубному врачу.

— А я тебя там подожду.

Молчание. Плывет буксирчик, плывут облака.

— Нет, я одна, — сказала Нина.

В окне автобуса видим Нину.

Дима стоит на остановке, смотрит вслед удаляющемуся автобусу.

Заседание ученого совета продолжалось. На трибуне академик Сретенский. И опять мы поспели только к финалу его речи.

— Итак, — говорит Никодим, — из моих ответов вы видите, что все аргументы комиссии меня совершенно не убедили. Напротив, я еще крепче уверовал в правильность пути. Я горячо благодарен за весьма лестную оценку моих пред-

шствующих работ, но не считаю нужным скрывать, что существует в науке некая инерция восхвалений и восторгов. ученый уже давным-давно ни копейки не стоит, а дифирамбы, однажды приведенные в действие, продолжают его осеять и сопровождать. Поэтому я сбрасываю восемьдесят процентов похвал, из тех что расточил мне докладчик, призывая вернуться к прежним темам и планам... Я не могу сделать этого, если бы даже захотел. Я попросту перестал их видеть. Я повернулся к самому себе какой-то иной своей стороной. Я сегодня совсем не тот, к кому взывает докладчик. У меня другие глаза, другие уши... Я понимаю, что стар и что пора осознать себя не в жизни, а в прощании с жизнью.

— Ну, Никодим Васильевич! Ну зачем же так?! — прервал его с места Докладчик.

— Но — удивительно! Мне мерещится иногда, что это не конец, а начало. И напоследок еще два слова, — продолжал Никодим. — О гражданине Котикове. За всю мою жизнь, мне кажется, я не встречал человека более преданного науке и интересного в науке, чем он...

Тася и Эльза Ивановна входили в Румянцевский садик.

— Конечно, мой Вадик на редкость добрый, порядочный человек, — задумчиво говорила Тася. — Я нашла с ним тихую пристань... Но, Эльза Ивановна, дорогая, скажу вам по совести — он скучноват! Он хороший, но пресный... А порой так хочется сумасбродства, неистовства, перца!.. Был у меня такой человек... Как я его любила! — Тася даже зажмурилась. — Страшно вспомнить!

— Говорят, чем их больше, тем их все меньше и меньше любишь, — откликнулась Эльза Ивановна.

— Чепуха!.. Мы познакомились в Крыму. Я сидела и смотрела на волны. Он сел рядом и взглянул на меня. И сразу все закружилось и пошло прахом!.. Боже мой, как это было прекрасно. А вы любили когда-нибудь, Эльза Ивановна?



— Я-то нет... Но мне об этом столько рассказывали, что я абсолютно все себе представляю.

Ученый совет завершался. Выступал с заключительным словом Куратор. Но и тут мы услышали лишь финал его выступления.

— Так как же нам быть при таких обстоятельствах? — говорил Куратор. — Закрывать группу и просить академика Сретенского все же вернуться к тому, что он так удивительно и полезно делал вчера, или все же довериться его гражданской ответственности, его догадкам и воображению и согласиться с той простой мыслью, что ведь, так сказать, не только мы с вами радуем о пользе и о главном в советской науке, но и советский ученый Сретенский радуется также о том же. И, кстати, пробует это доказать в новом, правда,

чертовски туманном деле? Ведь то, что сегодня туманно, завтра может стать самым важным, а то, что сегодня представляется важным, завтра может обратиться в туман... Время позднее, давайте решать.

Когда Никодим после заседания вышел из института, был уже конец рабочего дня. Мы пройдем по этому городу в час, когда он отдан спешащим, хлынувшим отовсюду потокам, среди которых задумчиво — сначала по оживленной улице, потом по улицам, менее людным, — шел Никодим.

А вот и совсем тишина. Опять знакомый нам дом бывшей гимназии возле старого дуба, вытоптанная площадка и гараж. Как всегда, кто-то возится над «Волгой».

И как всякий раз, когда случалось ему ненароком попасть сюда и он стоял здесь, вдруг незаметно стало стираться все нынешнее: повалил снег, заиграла музыка и там, где была площадка, засверкал коток. И как всякий раз, закружилась перед глазами какая-то маленькая, удивительная фигурка: все та же девочка, странная девочка, бессмертная девочка давних лет. Но теперь в этом кружении, беге, круговороте, да и во всем катке уже полностью обозначились разборчивые черты. Совсем отчетливыми стали огни, елки и все вокруг, полностью обозначилась девочка, вся стремительная ее фигурка. И только ее лицо все еще оставалось не ясным — какие-то полосы, вихрь. Шел легкий снежок.

Снег падал все гуще и гуще, коток исчез, девочка растворилась, опять обозначилось нынешнее, но на сей раз в снегу: в снегу были крыши, подъезды, деревья. Все снова стало реальностью...

Зима, снег, ветер над городом. Зимний город. Мороз в Ленинграде, мороз над рекой, колоннадами, памятниками, над людьми и домами.

Холодно. Очень крепкий мороз.



Прошло время. Весна. Поздний вечер.
Из подъезда большого дома на большой улице вышла
Нина и заспешила по весеннему тротуару. Кто-то окликнул
ее:

— Нина!

Вздрогнув, она остановилась. Это был Дима.

— Ты что тут делаешь? — спросила она.

— Гуляю.

— А... Ну, пошли.

Нина и Дима идут вдоль тротуара.

— Ты меня давно караулишь?

— Не очень.

— Замерз?

— Нет. Я знаю, где ты была.

— Я была у подружки.

И вдруг он в горячей мольбе забормотал:

— Ниночка, милая, ну что с тобой?

Нина круто остановилась.

— Только ради бога без сцен, и запомни, — резко сказала
она, — чтоб меня впредь больше не караулить. Я люблю его,
понимаешь, люблю!

— Но это же невозможно! — крикнул Дима. — Он бабник,
пошляк!.. Я как твой лучший друг говорю!

— Оставь меня, ну, пожалуйста, — сказала Нина. — Я не
хочу тебя больше видеть.

— Совсем?

— Да, совсем.

Он решительно перебежал на другую сторону улицы и
крикнул:

— Тогда я убью его!

— Иди домой. Я прошу тебя, ну, пожалуйста...

Нина открыла своим ключом дверь домика на Васильев-
ском, вошла, скинула пальтецо и прошла в комнату деда.
Тот сидел за столом и писал.

— Ниночка! Как хорошо, что ты пришла. — Он был весел,
душевно приподнят и оживлен. — У меня предложение, —
сказал он с шутилой торжественностью. — Есть повод
повеселиться. Давай кутнем!

— Давай.

— Пойдем в театр. Или в цирк. И вообще можешь меня
поздравить. Мы, кажется, наконец, получили эту окаянную
штуку.

— Что? Правда?

— Правда. И, знаешь, это действительно нечто невероят-
ное. Сногшибательное открытие!

— Поздравляю.

— Ай, старик! — сказал он о себе и прошелся гоголем по
комнате. — Ай, герой!.. И оказывается, это совсем не так
трудно.

— Что?

— Быть героем!

Нина целовала его и, обнимая, вдруг лучезарно сказала:

— Дед, а дед, а знаешь, это произошло.

— Что?

Молчание.

— Ну и что! — наконец, отозвался он. — Спасибо, что ты мне сказала. Произошло и произошло. Чуть раньше, чуть позже, но это бывает со всеми.

— Ой, дед! — в счастье прильнула она к нему. — Как я тебя люблю! Такого, как ты, нет на свете! Как я люблю тебя, дорогой. Как я тебя люблю!

Прозвучал громкий аккорд. Все та же простенькая мелодия, но теперь ее исполнял уже полный оркестр: скрипки, флейты, валторны, кларнеты, тромбоны, трубы и контрабасы — в сложной контрапунктической вязи. Теперь уже пел, взывал, шептал, грохотал весь оркестр. И снова сидели, стояли, лежали, шагали, стреляли солдатики.

Панорама из окна гостиницы по Московскому Кремлю на вестибюль, где журналисты берут интервью у Сретенского и Самсона.

Один из журналистов обращается к элегантной переводчице:

— Прошу передать джентльменам, что все участники конгресса единодушны в том, что ваше открытие знаменует собой принципиально новый подход к воздействию на эмоциональную сферу человека.

Никодим. Сердечно благодарю.

Самсон. Признателен.

Спрашивающий. Сперва несколько общих вопросов... Скажите, пожалуйста, а вы сами удовлетворены вашим открытием?

Самсон. Еще бы!

Никодим. Работа пока не завершена. Чтобы закончить ее, понадобится несколько лет.

Спрашивающий (он все время быстро записывает). Есть у вас хобби?

Самсон. Нет.

Никодим. Играю в солдатиков.

Спрашивающий (изумленно). В каких?

Никодим. Главным образом в оловянных...

Спрашивающий (в восторге). Прелестно!.. Что вы думаете о современной молодежи?

Никодим. Она мне очень нравится.

Спрашивающий (ошеломлен, не ждал такого ответа). А ее поведение?

Никодим. Мне все в ней нравится.

— Нравы и моды?

— И нравы и моды.

Спрашивающий (быстро пишет). Грандиозно!.. Что вам неприятно в людях?

Никодим. Самовлюбленность.

Самсон. Ненавижу нахалов, подлиз и проныр.

Переводчица с трудом, мило смеясь, переспрашивая, переводит.

Спрашивающая. Вас не удручает мораль современных женщин?

Никодим. Напротив!

Спрашивающая (ликуя). О!! Как объяснить популярно в журнале для женщин разницу между обычными успокоителями и тем... белком, который вы изобрели?

Самсон. Разница в том, что мы пока еще никого не успокоили.

Спрашивающий (Никодиму). Ваше мнение?

Никодим. Позволю себе несколько более пространный ответ. Наш белок не лекарство, не средство, не панацея от всех бед. Наша работа пока не завершена. Но нам важна идея, принцип. Даже, скажем так, метод подхода. А остальное пока бессмысленно разъяснять, особенно дамам.

Спрашивающий (воодушевленно). Но окончательная победа близка, не так ли?

Самсон. Безусловно!

Никодим. Надеюсь.

Спрашивающий. И тогда человек успокоится и освободится от тревог, безотчетного страха, напряженности и дурных сновидений?

Никодим. Увы, нельзя лекарствами успокоить мир, где рвутся бомбы, трещат автоматы и кипят социальные битвы, где часть людей задыхается от богатства, а другая околе-
вает с голоду.

Спрашивающий. Что же надо делать?

Никодим. Видимо, изменить тот мир.

— И все же, признайтесь, мой друг, — заметил Сретенский, когда они с Самсоном остались наедине в своем номере в гостинице, — слава — это прелестная штука, и вы от нее без ума. Вы сияете, словно блин, который смазали маслом.

— Это вы сияете, словно блин, — парировал Самсон.

— Ну и что? Я люблю, когда меня хвалят, когда на меня смотрят с восторгом. Я рожден для аплодисментов, представьте себе, и мечтаю о них с пеленок. — И опять было непонятно в шутку или всерьез говорит Никодим.

— А у меня голова разламывается от всей этой мишуры. Не знаешь, как стать, как сесть...

— Какая же тут мишура? Вы заслуживаете того, чтоб человечество интересовалось, кто вы такой, сколько вам лет и когда вы ложитесь спать, — успокоил его академик Сретенский.

Раздался легкий стук в дверь. Дежурный по этажу принес телеграмму. Академик прочитал и умолк.

— Что случилось? — тревожно спросил Самсон, увидев, как сразу изменилось его лицо.

— Нина очень больна. Я должен срочно ехать домой. Извините меня, извините...



— Она спит, — сказала Тася. — Хочешь чаю?

Никодим только что возвратился в Ленинград и, видимо, всего лишь сейчас вошел в квартиру. Кроме него в комнате были Тася и муж ее Вадим.

— Что стряслось? Что? — в тревоге спросил Никодим.

— Он ее бросил.

— Кто?

— Этот ее доктор, ее любовник, — сказала Тася и мельком взглянула на себя в стенное зеркало.

— Как, разве у нее есть любовник? — спросил Никодим.

Мы с вами помним, что он это знал, но полагал, что знает один.

— Все это видели, кроме тебя! Я-то знала, что этим кончится, — не без злорадства сказала Тася. — Современная молодежь! Эта распушенность, эти поцелуи на виду у всех!.. Девушки в наше время...

— Она очень страдает? — перебил Никодим.
— Очень, — ответил Вадим. — Она закрылась у вас в кабинете и никого не хочет пускать к себе, кроме Эльзы Ивановны.

— Разве же она скажет что-нибудь по-человечески! Ну что теперь будет в Москве с твоим докладом?

— Там остался Котиков.

— Кто такой Котиков? — спросила Тася и тут же вспомнила. — Ах да...

Вошла Эльза Ивановна.

— Никодим Васильевич! — всплеснула она руками. — Наконец-то! Идемте скорей.

Когда Никодим и Эльза Ивановна вошли в комнату, Нина лежала недвижно, спиной к дверям. Он негромко окликнул ее. — Нинок!

Она стремительно повернулась, вскочила и бросилась к нему:



— Дедушка! Родненький! Единственный мой! Плача, она прижалась к деду. Он с трудом усадил ее.

— Приехал, приехал, — бормотала она. — Сейчас же иди к нему!

— Эльза Ивановна, дорогая, — сказал Никодим. — Простите меня, но я вас очень прошу оставить нас с Ниной вдвоем. Простите меня...

— Я сама знаю, что делать! — гордо ответила Эльза Ивановна и, глядя на Нину, вытерла слезы. — Прошу не учить, я воспитана лучше вас!

И вышла.

— Иди к нему! — снова забормотала Нина. — Уговори, скажи!..

— Но что сказать, моя дорогая. Что я могу сказать ему?

— Ты знаешь! — твердо отрезала внучка. — Ты такой умный и старый. Ты должен знать!

— Но я не умею... Я так теряюсь в этих делах...

— Ты все умеешь! Неправда! Иди и скажи, что так нельзя, что я люблю его, что надо быть честным... Я так ему верила, так любила... За что? Иди и скажи! Слышишь, иди и скажи!

— Ну не плачь, не надо, не плачь...

— Я тебя так ждала! Я знала, что ты пойдешь и уладишь. Один ты! Дедушка, дорогой, помоги!.. Ну помоги же мне, дедушка!

Яхтклуб. В глубине мы видим Сретенского и Олега. Это возлюбленный Нины.

— Иногда какая-нибудь размолвка, пустая ссора отравляют все. Но если было что-то настоящее, можно пересилить себя и сделать шаг. Мужчина должен быть выше этого... — слышим мы голос Никодима.

— Вероятно, вы правы! — продолжает разговор Олег. — Безусловно, вы правы. Но это не просто размолвка, я полюбил другую. Я не знаю, что делать. Вы мудрец, старик, вы прожили жизнь — научите...

— Я верю, — холодно отозвался Никодим. — Но если вы любили Нину и были близки с ней, то у вас есть моральные обязательства? Ведь вы бросаетесь жизнью, слезами, страданиями. Она страдает, бесконечно страдает.

— Мне стыдно и больно, клянусь! — ответил Олег. — Но я полюбил другую.

— Но ведь должны же быть какие-то духовные тормоза! Неужели у вас нет совести? Жалости, наконец? Она так вам верила, вы для нее самый дорогой человек на земле. А это бесценно, поверьте мне!.. Она — вся преданность, искренность, задушевность. Подумайте, какой она выйдет из этой беды!

— Я каюсь, казнию себя, — соглашался покорно Олег, — но позволю себе заметить, что вы слишком драматизируете происшедшее. То, что случилось, бывает теперь на каж-

дом шагу. Простите, но вы подходите к оценке современных явлений с высот морали, устоев, эмоций вашего поколения. А ведь текущее поколение есть нечто такое, что...

— Перестаньте о поколениях! — яростно зарычал Никодим. — Мне это, наконец, надоело!.. Ничем мы не лучше, но и не хуже вас. Все, что бывает с вами, бывало и с нами. И только ханжи кричат, что в наше время это было не так. Все было!.. Но существуют честность и долг.

Настало тягостное молчание.

— Послушайте, — сказал Никодим. — Я старый человек. На свете есть многие, кто уважает меня. Так вот, я прошу вас, я умоляю, проверьте себя. Поговорите с собой в тишине. Нельзя поступать с человеком, как поступили вы. Она так верила вам, была так радостна и светла. Нельзя убивать из-за прихоти или каприза. Это гнусно и низко!

— Конечно, вы правы, — уныло кивнул Олег. — Но вы же умный, тонкий, все понимающий человек. Скажите, что делать, если я полюбил другую?

— Я полагал... Я не должен был... — сказал Никодим. — Простите этот бестактный визит. Старики бывают так бес-толковы в этих вопросах...

— Ну что он сказал? Что он сказал? — в неистовом нетерпении спрашивала Нина. Она по-прежнему лежала с повязанной полотенцем головой.

Никодим молча присел к ней.

— Забудь его, Ниночка, — сказал он. — Это негодяй.

— Что он сказал, я спрашиваю тебя! — закричала она.

— Сказал, что любит другую.

— Кто она? — в гневе, тоске и страдании крикнула внучка. — Эта мерзавка! Змея!

Старик молчал.

Она заметалась в горе и маяте.

— Ну что ты молчишь? Чего ты молчишь? — вдруг желч-





но, со злобой сказала она. — Ну утешь меня, скажи хоть несколько слов.

— Видишь ли, моя дорогая, единственная, — сказал старик. — Я могу тебе сказать только то, что веками говорит человечество. Я понимаю, как тебе больно и страшно, но все пройдет. Все уйдет, пробежит и сотрется, не останется даже следа... Да, он красив, твой доктор. Но надо дарить любовь не тому, у кого красивы глаза, шея, руки, а тому, кто...

Она вдруг отшатнулась от него и некоторое время безмолвно глядела на него, застывшего от робости и любви.

— Уйди! — вдруг негромко, с пронзительной силой сказала она. — Ты, как они. Я видеть тебя не могу. Убирайся отсюда. Да что ты умеешь в жизни! Чем ты можешь помочь? Я так тебе верила, так ждала!

Старик выскочил из комнаты. Не помня себя, накинуд пальто и ушел из дома.

Был уже вечер, июньский, негаснущий вечер, и, не помня себя, старик Никодим метался по Ленинграду. Люди шли в театры, в сады, за оградой звучала музыка, люди курили, смеялись, все было легко и чудесно в этой толпе, сквозь которую пробирался старик. Он шел и шел, бормотал, сжимал кулаки, иногда хватался за голову, от него шарахались, но он был безобиден.

Он был безопасен для этого вечера и этих людей.

И даже милиционер, поначалу воззрившийся на него, понял это и запалил сигарету.

Потом людей стало меньше, улицы глуше. Но свет белой ночи плавал здесь удивительней и грозней, чем там, где светили огни. Он делал окна зрячими, подьезды мудрыми, крыши сквозными. И поразительной сделал он старую баржу, безлюдную баржу, мимо которой, уже утомившись, но все еще не помня себя, плелся старик Никодим.

Он очутился возле знакомого нам дома с колоннами. Теперь, в свете ночи, памятная нам вытоптанная площадка казалась белой, гаражики плоскими, а в доме безлюдно и жутко мерцал белый блеск. Никодим остановился, словно опомнившись. Словно только теперь осознав свой бег.

Он долго стоял. И понемногу, как это бывало всегда, мелькнула снежинка, другая, пошел легкий снег, подул легкий ветер, качнулись легкие фонари, и засиял каток, и засверкали фигурки бегущих, сидящих, танцующих. Но теперь уже все, до малейших подробностей, было четко и вырисовано, все прояснилось, определилось. Совершенно отчетливой стала и девочка, что, как всегда, кружилась посерединке льда. И даже то, что каждый раз оставалось стертым, в кругах и вращениях, — ее личико — тоже резко и внятно встало среди катка. Она прорезалась вся — без неясностей и туманов.

Все кружилось, вертелось, играла музыка. И вдруг замерло. Остановилась и девочка.

И, подумав, сошла с катка. И подошла к старику Никодиму.

— Здравствуй! — сказала девочка.

— Здравствуй! — сказал старик.

— Ты помнишь меня? — спросила девочка.

— Да.

— Нам было тогда по четырнадцать лет, — сказала странная девочка улыбнувшись.

— Да.

— И мы целовались с тобой.

— Помню, все помню, — отозвался старик. — Боже мой, сколько лет прошло с той поры! Ведь ты теперь тоже, наверное, старуха?

Они помолчали.

...Все летело, синело, мигало, белело вокруг, все вспыхивало и гасло...

— Ну, как ты жил? — спросила девочка. — Ты ведь так долго живешь. Ты был счастлив?

Никодим помедлил. Шел снег.

— Видишь ли, — сказал он. — Это, пожалуй, самый трудный вопрос на земле. Был ли я счастлив? В работе — бывал иногда. Я жил в хорошее время и в хорошей стране... И все, что я мог и хотел свершить, я свершил — а это уже огромное счастье.

Теперь помолчала девочка.

— Ты многих любил? — спросила она.

— Немногих... Но меня не любил никто.

— Почему?

— Может быть потому, что я слишком любил их... Я был самым добрым, уступчивым мужем, но жена говорила, что я плохой, небрежный, вздорный муж. Я был ласковым, мягким, добрым отцом, но дочь говорила, что я равнодушный отец. Я любил внуку отчаянно, невообразимо, но она сказала, что я предал ее... Теперь я один.

— А знаешь, — сказала странная девочка, — ведь я всегда вспоминала тебя. Я приходила сюда и сидела здесь. Всю жизнь я не могла избавиться от любви к тебе. У меня были дети, внуки, был даже правнук, но я любила тебя, как тогда. Боже, как я любила тебя всю жизнь!

— Но где же ты? Где? — закричал Никодим. — Как мне найти тебя? Где?

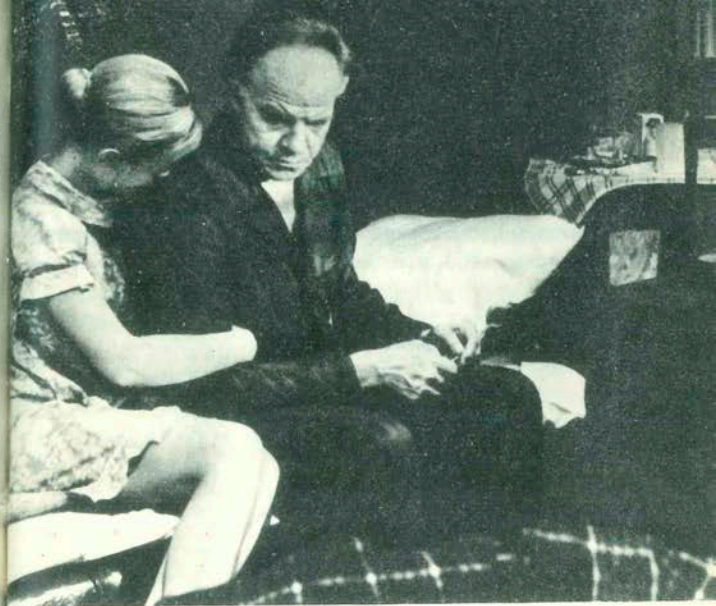
— Не знаю, — сказала странная девочка. — Где я? Не знаю.

И, как всегда, вдруг растаял снег и не было уже ни катка, ни огней, ни елок, а только площадка, трава вокруг и старый колончатый дом, где некогда помещалось отрочество. И все опять стало подлинной жизнью, отчетливой и понятной, хотя была белая ночь...

— Дед! — вскричала Нина, когда Никодим вошел в ее комнату. — Наконец! Где ты был столько времени?!

— Я гулял.

— Я так волновалась! — проговорила Нина в слезах. — Так волновалась! — повторила она и плача прильнула к



деду. — Я, кажется, наговорила что-то тебе? Какую-то чушь? Ты прости меня! Я как в бреду.

— Я все понимаю, — ответил старик.

Они сели, и Нина, как в детстве, клубочком, была с ним рядом.

— Только не уходи больше, — сказала она. — Ты не уйдешь от меня?

— Не уйду.

— И не будешь сердиться?

— Нет.

— Знаешь, — робко и выжидательно проговорила она. — Я вот лежала и думала, все думала, думала... И знаешь, мне кажется, что мне сейчас уже легче... Чуть-чуть... Ты правду сказал, что это пройдет? — в надежде и горячо спросила она.

— Пройдет, милая. Нет боли, которая бы не прошла. Все проходит. Если бы не проходило, то и жить нельзя...

— Дед, дорогой, посидим, как бывало, — она снова крепко прижалась к нему. — Подумаем, как мне дальше жить. Ты мне все объяснишь. Ведь ты столько жил на земле, столько видел!

— Хорошо, — ответил старик, — посидим и подумаем. И я объясню тебе все, ненаглядная моя. Все, что могу объяснить.

ФИЛЬМОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Фильм по сценарию «Монолог» поставлен на студии «Ленфильм» в 1973 году. Автор сценария — Евгений Габрилович. Режиссер-постановщик — Илья Авербах. Главный оператор — Дмитрий Месхиев. Главный художник — Марина Азизян. Композитор — Олег Каравайчук. Звукооператор — Эдуард Ванунц.

В главных ролях: Михаил Глузский (профессор Сретенский), Маргарита Терехова (Тася, его дочь), Марина Неёлова (Нина, его внучка), Станислав Любшин (К. Н. Котиков, по прозвищу Самсон) и другие.

Фотографии А. П. Маслакова

СОДЕРЖАНИЕ

Р. Юренев. О чуткости человеческой	5
Евг. Габрилович. «Монолог» (киносценарий) . . .	14
Фильмографическая справка	111

Евгений Иосифович Габрилович

МОНОЛОГ

Редактор Л. Н. Познанская. Художник Г. К. Александров. Художественный редактор И. С. Жихарев. Технический редактор А. Н. Ханина. Корректор Н. Л. Островская. Сдано в набор 6/II 1974 г. Подписано к печати 5 VI-1974 г. А06464. Формат бумаги 70х90 1/32. Бумага тифдручная 75 г/м². Усл. печ. л. 4,09. Уч.-изд. л. 5,692. Изд. № 15155. Тираж 30 000 экз. Заказ 1184. Цена 30 коп. Издательство «Искусство», 103051, Москва, Цветной бульвар, 25.

Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфический комбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли, г. Калинин, пр. Ленина, д. 5. Фотонабор.

30 коп.

